

## ИСТОКИ РЕВОЛЮЦИИ

«Французская революция и все то, что происходит в Европе в сей час, столь же чудесны в своем роде, как и внезапное плодоношение дерева в январе», – писал Ж. де Местр в 1797 г. Его слова ярко выражают ту крайнюю степень изумления, с которым современники на исходе XVIII в. наблюдали за происходившим во Франции. Случившееся в этой стране выглядело настолько необычным, настолько беспрецедентным для истории человечества, что требовало и столь же нетрадиционных объяснений. Хотя непосредственная причина политического кризиса в королевстве – катастрофическое положение государственных финансов – лежала, казалось, на поверхности, мало кто из писавших тогда о французских событиях довольствовался ссылкой на нее и не пытался найти некие глубинные истоки происшедшего. Появившиеся тогда многочисленные трактовки причин Французской революции можно разделить на две большие группы, условно обозначив их как интерпретации идеологические и социальные.

Авторы первых видели в революции, прежде всего, результат широкого распространения идей Просвещения. Те из них, кто Революцию поддерживал, утверждали, что политические и общественные институты Старого порядка были порождением «невежества» и «заблуждений», которые в XVIII в. оказались постепенно рассеяны усилиями философов-просветителей, что и привело в конечном счете к ниспровержению монархии. «Выше голову, вы, друзья свободы, и писатели, ее защищающие! – восклицал в 1791 г. английский публицист Т. Пейн, активный участник сначала Американской, затем Французской революций. – ...Смотрите, как зажженный вами свет, сделав свободной Америку, достиг Франции и вспыхнул там пламенем, испепелившим деспотизм, согревшим и озарившим всю Европу!» В труде другого видного участника Французской революции, математика М.Ж.А.Н. Кондорсе «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» (1793–1794) эта точка зрения получила солидное философское обоснование. Считая главной движущей силой человеческой истории совершенствование разума и развитие науки, Кондорсе видел в революции естественный результат этого процесса: просвещенные учеными люди сносят с пути интеллектуального прогресса препятствия, некогда воздвигнутые «суеверием» и «тиранией».

Среди противников революции мнение о том, что ее «виновниками» были философы Просвещения, также получило широкое распространение. Большой популярностью в Европе на рубеже XVIII–XIX вв. пользовались «Записки по истории якобинизма» (1797–1798) французского аббата О. Баррюля, переведенные на многие иностранные языки. Их автор пытался до-

казать, что революция во Франции явилась следствием «заговора против религии, монархии и общества», составленного философами, масонами и иллиuminатами.

В отличие от идеологических трактовок причин Французской революции, социальные интерпретации первое время встречались не столь часто, однако и они звучали из уст как ее поклонников, так и критиков. Из последних, пожалуй, наиболее известен британский политик и мыслитель Э. Бёрк. В своем труде «Размышления о революции во Франции» (1790) он, в частности, высказал предположение, что важной предпосылкой к произошедшему стало нарушение во французском обществе баланса между представителями «денежного» и «земельного» интересов. Первые, или предприниматели, были недовольны своим недостаточным политическим влиянием, которое, как полагал Бёрк, не соответствовало их растущему экономическому весу. Это, по его мнению, и побудило их выступить против Старого порядка, при котором ведущие позиции в обществе занимали владельцы земельных богатств. На подобный социальный конфликт как причину революции указывал и оппонент Бёрка по развернувшейся в английской печати дискуссии Дж. Макинтош, а в самой Франции известный революционный деятель А. Барнав, отошедший в 1791 г. от политики и написавший книгу «Введение во Французскую революцию» (1793, опублик. 1843). Впрочем, эти авторы подчеркивали также и важную роль Просвещения в идейной подготовке революционных перемен.

Дальнейшее развитие социальная интерпретация истоков Французской революции получила в трудах либеральных историков эпохи Реставрации. Защищая революционное наследие от критики со стороны легитимистских авторов, они доказывали, что Революция стала закономерным результатом исторического развития Франции, а именно следствием нараставшего в предшествующие столетия и особенно на протяжении всего XVIII в. конфликта между «средним сословием» («буржуазией») и сословиями привилегированными. Поскольку монархия оказалась не способна осуществить реформы, которые могли бы привести общественно-политический строй Франции в соответствие с растущими запросами буржуазии, революция стала естественным средством разрешения такого противоречия. «Сила, богатство, просвещенность, самостоятельность среднего сословия, – писал Ф.О. Минье, автор весьма популярной тогда «Истории Французской революции» (1824), – увеличивались со дня на день, и оно должно было побороть королевскую власть и ограничить ее».

В дальнейшем эта схема легла в основу всей так называемой «классической» (либеральной и социалистической\*) историографии Французской революции. В конце 1970-х годов французский историк-марксист А. Собуль,

---

\* Если представители либеральной историографии (О. Минье, А. Тьер, А. Олар и др.) сводили содержание Французской революции преимущественно к конфликту между «средним классом» («буржуазией») и «аристократией», то историки социалистического направления (Ф. Буонарроти, Л. Блан, Ж. Жорес, исследователи-марксисты и др.) придавали также важное значение проявившимся все более отчетливо по мере развития событий противоречиям внутри революционного лагеря – между «буржуазией» и «народом» («трудящимися классами»). Разумеется, как и любая классификация, подобное деление историографии революции на «либеральную» и «социалистическую» носит достаточно условный характер.

оценивая ведущие тенденции развития исследований по Французской революции, так характеризовал либеральную составляющую «классического» направления: «Со времен Реставрации историки либеральной школы, даже если они нисколько не интересовались экономическими истоками общественного развития, энергично подчеркивали одну из главных особенностей нашей национальной истории: появление, рост и конечную победу буржуазии; занимая промежуточное место между народом и аристократией, буржуазия постепенно создала кадры и выработала идеи нового общества, освящением которого стал 1789 год».

В социалистической же историографии, прежде всего в марксистской, эта социальная трактовка, говоря словами Собиля, была «углублена», а именно увязана с экономическими процессами, происходившими в предреволюционной Франции. Согласно марксистской теории, Французская революция являла собою классический образец революции «буржуазной», обеспечившей переход от старого, «феодального» способа производства к новому, «капиталистическому». Соответственно, социально-политическая структура Старого порядка в данном контексте трактовалась как безнадежно косная, препятствовавшая прогрессивному развитию страны и абсолютно неспособная к самореформированию.

Подобная интерпретация истоков Французской революции – ее условно можно назвать «социально-экономической» – с конца XIX в. возобладала в историографии, находя отражение в работах не только собственно марксистских авторов, но и тех исследователей, кто хоть в малой степени испытал на себе влияние марксизма.

Так, по мнению Н.И. Кареева, общественно-экономический строй предреволюционной Франции был тормозом для развития страны, которая переживала тогда эпоху «государственного расстройств», «экономического разорения», «задержки в развитии». Любопытно, что в своем многотомном курсе Новой истории Кареев даже счел излишним подробно освещать данный период, именно потому, что с точки зрения прогресса, тот являл собою «застой», а то и «возвращение вспять».

Е.В. Тарле утверждал в 1907 г., что существовавшая во Франции накануне Революции общественно-политическая система являла собою настоящее «экономическое бедствие», ибо вела к «экономическому распаду» и «хроническому голоданию нации». Ну а поскольку, считал историк, она по сути своей оказалась не способна ни к какому реформированию, «результат был предreshен всей исторической эволюцией французского народа, революционным поколению оставалось выполнить продиктованную задачу».

Едва ли не в еще более драматичном тоне описывала Францию Старого порядка советская историография. «Те самые основные причины, которые делали неизбежной революцию, – писал А.З. Манфред, – глубокое противоречие между феодальным строем и вырастающим из его недр капитализмом и его классовое выражение – противоречия между третьим сословием и привилегированными сословиями, – являлись определяющими и в обострении кризиса всего феодального строя. Этот кризис, углублявшийся на протяжении XVIII в., к концу столетия принял крайне острые формы».

При том, что на протяжении почти всего XX в. историки искали истоки Французской революции прежде всего в социально-экономической сфере,

идеологические аспекты также постоянно оставались в поле зрения исследователей. Процесс распространения просветительских идей теперь считали если и не прямой причиной Революции, то ее «идеологической подготовкой» или, как образно выразился тот же Манфред, «идеологической бомбардировкой феодально-абсолютистского строя».

Подобная трактовка причин Французской революции доминировала в отечественной науке практически до конца советского периода, однако за рубежом уже во второй половине XX столетия многочисленные конкретные исследования по проблемам социологии, экономики, политики и культуры Франции XVIII в. позволили в чем-то полностью пересмотреть, в чем-то существенно уточнить те представления об истоках Французской революции, которые долгое время господствовали в ее «классической» историографии.

Тот факт, что в 1788–1789 гг. Франция переживала тяжелый экономический кризис, является общим местом всех исторических трудов о Французской революции и никем под сомнение не ставится. Источники того времени свидетельствуют о значительном повышении цен на сельскохозяйственную продукцию и прежде всего на продовольствие, о массовом разорении промышленных предприятий и росте безработицы. Однако чем были вызваны эти явления: кризисным состоянием социально-экономической системы Старого порядка в целом или неблагоприятной экономической конъюнктурой вкупе с ошибками властей? На сей счет историками высказывались разные мнения: представители «классической» историографии, в соответствии с давней традицией, придерживались первой точки зрения, современные же специалисты по экономической истории, опираясь на данные новейших исследований, отдают предпочтение второй.

И действительно, если выйти за рамки нескольких предшествовавших Революции кризисных лет и взглянуть на развитие французской экономики в более широкой ретроспективе, то мы увидим, что с 20-х по 80-е годы XVIII в. страна переживала устойчивый экономический рост.

Особенно быстро развивались сектора экономики, связанные с колониальной торговлей. По ее общему объему, выросшему за этот период в четыре раза, Франция вышла на второе место в мире после Англии. Причем разрыв между двумя странами в данной сфере постепенно сокращался, поскольку французская внешняя торговля росла более высокими темпами. Сотни французских судов курсировали в «атлантическом треугольнике»: из Франции они везли в Африку ром и ткани, там наполняли трюмы чернокожими рабами для плантаций Вест-Индии, откуда возвращались в метрополию груженные сахаром-сырцом, кофе, индиго и хлопком. Колониальное сырье перерабатывалось на многочисленных предприятиях, окружавших морские порты, после чего готовые продукты частично потреблялись в самой стране, частично продавались за рубеж. Атлантическая торговля стимулировала развитие судостроения, текстильной и пищевой промышленности.

Больших успехов в XVIII в. добилась и тяжелая индустрия Франции. Богатые дворянские семьи охотно вкладывали в нее средства. В 80-е годы свыше 50% металлургических предприятий в стране принадлежали дворянам, более 9% – церкви. Так, именно в этот период капитан артиллерии Ф.И. де Вандель д'Эйяж вместе с английским инженером У. Уилкинсоном основали

знаменитый металлургический завод в Крезе, где в 1787 г. была проведена первая во Франции плавка с использованием кокса. В 80-е годы началось применение и первых паровых машин.

Заметный прогресс имел место и в сельском хозяйстве. Интенсивная пропаганда новейших методов агрикультуры, которую при поддержке властей осуществляли просветительские сельскохозяйственные общества, со временем принесла свои плоды. Передовые достижения агрономической науки постепенно воспринимались и крестьянской средой, получая все более широкое применение. Особенно же восприимчивы к ним оказались ориентированные на рынок крупные дворянские и фермерские хозяйства, ставшие своего рода «матрицей капитализма». В целом рост валового продукта сельского хозяйства с 1709 по 1780 г. составил до 40%. Развернутое государством строительство дорог, мостов и каналов способствовало расширению внутренней торговли и специализации различных регионов на производстве определенных видов продукции для рынка.

Устойчивый экономический подъем способствовал настоящему демографическому буму, не прекращавшемуся на протяжении всего столетия. К концу XVIII в. по численности населения (27 млн в 1775 г.) Франция лишь немногим уступала России (30 млн) и находилась на более или менее одинаковом уровне с монархией Габсбургов, значительно обгоняя остальные европейские страны (Испания и Англия – примерно по 10 млн, Пруссия – 6 млн).

Тем не менее ко второй половине 80-х годов XVIII в. в различных отраслях хозяйства Франции наметились серьезные кризисные явления, которые были вызваны целым рядом факторов, напрямую не связанных между собой. Эти факторы можно разделить на субъективные (просчеты в экономической политике правительства) и объективные, а последние, в свою очередь, – на долговременные (смена фаз многолетнего экономического цикла) и краткосрочные (неблагоприятная сезонная конъюнктура).

В функционировании экономики Старого порядка существовала определенная объективная цикличность: многолетние периоды роста цен на зерно сменялись столь же продолжительными периодами их снижения. Первая из этих тенденций была выгодна для производителей сельскохозяйственной продукции и способствовала расширению их хозяйственной деятельности, вторая, напротив, вела к сокращению их доходов и оказывала сдерживающее влияние на развитие аграрного сектора, да и всей экономики в целом, поскольку именно он составлял ее основу.

На протяжении большей части XVIII в. цены на зерно постепенно росли, но в 1776 г. эта фаза цикла закончилась, и они пошли вниз. Вскоре стали падать и цены на вино, важнейший продукт французского экспорта. Снижение доходов производителей сопровождалось сокращением найма рабочей силы и, соответственно, ростом безработицы в сельской местности. Чтобы поднять спрос на сельскохозяйственную продукцию и стимулировать ее производство, правительство предприняло ряд мер, направленных на расширение ее экспорта. В 1786 г. оно заключило торговый договор с Англией, который открывал британский рынок для французских вин. Взамен французский рынок открывался для продукции английских мануфактур. В 1787 г. был разрешен свободный вывоз зерна за рубеж и заключен торговый договор с

Россией, также предусматривавший выгодные условия для экспорта французских вин. Но требовалось время, чтобы русско-французский договор принес реальную выгоду. Остальные же, правильные в принципе, меры на деле не только не улучшили ситуацию, но еще больше ее усугубили.

Разрешение экспортировать пшеницу привело к тому, что значительная часть запасов зерна ушла за рубеж. Лето же 1788 г. выдалось неурожайным. В некоторых областях из-за дождей и страшных бурь погибло до четверти урожая. Цены на рынках взлетели. Стали распространяться панические настроения: люди боялись голода.

Торговый договор с Англией сулил французским земледельцам в перспективе немалую выгоду, однако гораздо быстрее промышленники Франции ощутили его издержки. Английские текстильные мануфактуры, имевшие лучшее техническое оснащение, заполнили своей дешевой продукцией французский рынок, вытесняя с него местных производителей. Вдобавок у тех возникли серьезные проблемы с сырьем. В 1787 г. сбор шелка-сырца был крайне низким, а неурожай 1788 г. спровоцировал забой овец и, соответственно, резкое сокращение их поголовья, что вызвало еще и дефицит шерсти. Все это вместе взятое привело к острому кризису французской текстильной промышленности: сотни предприятий закрылись, тысячи работников оказались на улице.

Ни один из названных факторов не являлся беспрецедентным для французской истории. И в предшествующие периоды негативное воздействие на экономику каждого из них время от времени имело место. Но уникальность ситуации 80-х годов XVIII в. состояла в том, что на сей раз проявление всех этих факторов совпало по времени, что сделало экономический кризис особенно глубоким и тяжелым.

Однако кризисное положение страны вскоре превратилось в катастрофическое, когда в столь сложной экономической ситуации власти оказались вынуждены приступить к реформе государственных финансов, крайне непопулярной среди привилегированных сословий.

О том важнейшем значении, которое имел дефицит государственных финансов для углубления во Франции политического кризиса, приведшего в конце концов к революции, много и охотно писали уже современники событий, причем не только в самой стране, но и за ее пределами. Вот, к примеру, мнение на сей счет ранее упоминавшегося Т. Пейна: «Доходов Франции, составлявших почти 24 млн фунтов в год, не хватало на покрытие расходов не потому, что доходы уменьшились, а потому, что возросли расходы. Этим обстоятельством и воспользовалась нация, чтобы совершить революцию».

Наличие серьезного финансового кризиса в предреволюционной Франции не ставится под сомнение никем из историков. В отношении же его причин единой точки зрения нет. Можно ли считать его свидетельством нежизнеспособности государственной системы Старого порядка в целом? Была ли она настолько недоступна для самореформирования, что ее революционная ломка оказалась неизбежной? Исследователями на сей счет высказывались разные мнения.

Дефицит средств преследовал французское государство на протяжении всех трех столетий существования Старого порядка (XVI–XVIII вв.).

Утверждение в этот период абсолютной монархии вело к быстрому росту административного аппарата и сопровождалось многократным, по сравнению со Средними веками, повышением расходов на его содержание. Кроме того, происходившие тогда же радикальные перемены в способах ведения войны (настолько радикальные, что даже получили в исторической литературе название «военной революции») сделали настоятельной необходимостью для Франции, как, впрочем, и для других европейских держав, иметь постоянную армию, что тоже потребовало существенного увеличения расходов.

Для удовлетворения этих радикально выросших финансовых потребностей государству приходилось использовать старую, унаследованную еще от Средневековья фискальную систему. Особенностью ее было крайне неравномерное распределение налогового бремени среди населения. Поземельный налог – талья, являвшийся основным источником государственных доходов, выплачивался непривилегированными сословиями, а дворянские и церковные земли были от него освобождены.

Помимо сословных привилегий, избавлявших от уплаты этого налога, специфика фискальной системы Франции состояла в том, что за долгую историю существования тальи монархи даровали и продали слишком много частных освобождений от нее. Особенно активно это происходило в периоды гражданских смут, когда короли для привлечения на свою сторону того или иного города, могли его освободить от тальи навечно. Такие же привилегии порою получали для своих владений и отдельные лица, не обладавшие сословными привилегиями. В результате подобного сокращения налогооблагаемых территорий увеличивалась доля оставшихся плательщиков, ибо общая сумма налога не сокращалась. Кроме того, при покупке дворянином крестьянской земли этот участок также освобождался от поземельного налога. Ну а поскольку расширение подобным способом дворянских владений приобрело в XVII–XVIII вв. массовый характер, это еще больше сокращало базу налогообложения и отягощало фискальный гнет для тех, кто привилегий не имел.

Правящие круги хорошо понимали опасность положения и уже в начале XVIII в. пытались скорректировать финансовую политику монархии. Первым шагом в этом направлении стало введение Людовиком XIV поголовного налога (капитации) – сначала временно, а с 1701 г. на постоянной основе. В 1710 г. этим же королем был установлен еще один всесословный налог – десятина. Хотя сами по себе эти меры еще не означали радикальных перемен в фискальной системе государства, они утвердили принцип всесословного налогообложения, реализация которого стала лейтмотивом действий последующих правительств.

В мае 1749 г., по инициативе Ж.-Б. Машо д'Арнувиля, министра Людовика XV, правительство отменило десятину, временный прямой налог, заменив ее постоянным налогом – двадцатиной, поступления с которого должны были идти в специальную кассу погашения государственного долга. В преамбуле особо подчеркивалось, что налог носит всесословный характер: «ничто не может быть более правильным и справедливым, чем распределение его между всеми французами в зависимости от их возможностей и размеров доходов». При этом основная тяжесть двадцатины ложилась на имущие слои населения, так как обложению подлежал лишь «чистый доход» – от земельной

собственности, торговли, промышленности, движимого имущества и должностей, но не плата наемных работников. Однако реформы Машо вызвали ожесточенное сопротивление традиционных государственных институтов – парламентов, провинциальных штатов, а также церкви. Поскольку преобразования были предприняты в крайне неблагоприятной обстановке широкого распространения оппозиционных настроений и падения авторитета власти, они не получили поддержки даже тех слоев общества, которые в перспективе должны были выиграть от более равномерного перераспределения фискального гнета. В результате правительство вынуждено было пойти на уступки церкви и в 1751 г. подтвердило налоговый иммунитет духовенства. Таким образом, хотя Машо и удалось добиться введения двадцатины, данный налог лишился своего принципиального преимущества – всесословности.

От правительства Людовика XV исходила инициатива и решительной судебной реформы – «революции Мопу» 1770–1774 гг., призванной устранить с политической арены те влиятельные традиционные суды, прежде всего парламенты, которые ранее оказывали упорное сопротивление политике центральных властей в различных сферах, в частности препятствуя любым попыткам финансовых преобразований, направленных на отмену фискального иммунитета привилегированных сословий. Довести до конца задуманное канцлеру Р.Н. де Мопу помешала, как известно, только скоропостижная кончина Людовика XV: новый король восстановил парламенты в их правах и отправил канцлера в отставку.

Министры Людовика XVI А.Р.Ж. Тюрго, Ш.А. Калонн и Э.Ш. Ломени де Бриенн также предпринимали с большей или меньшей степенью решительности меры против налоговых привилегий. Однако все их попытки модернизировать финансовую систему государства натолкнулись на упорное сопротивление привилегированных сословий и традиционных судебных учреждений.

Между тем к концу 80-х годов XVIII в. ситуация в сфере государственных финансов из хронически трудной превратилась в критическую из-за серьезных деформаций в кредитной политике, допущенных Ж. Неккером, генеральным директором финансов в 1777–1781 гг. Для финансирования участия Франции в войне против Англии на стороне североамериканских колоний Неккер использовал принципиально новую, не применявшуюся до него в столь широком масштабе схему покрытия военных расходов. Чуткий, как никто другой из министров, к реакции общественного мнения, он старался изыскивать средства на ведение войны, не повышая налогов, исключительно за счет займов. Новизна его политики состояла в том, что главными кредиторами государства, в отличие от предшествующих периодов, были не французские финансисты, а швейцарские и голландские банкиры. Столь радикальное изменение основных источников кредитования имело для французской монархии далеко идущие негативные последствия. Ранее (в 1601–1602, 1605–1607, 1623, 1661 и 1716 гг.) традиционным для нее средством преодоления послевоенных финансовых трудностей была политика «выживания губок», т.е. расследование совершенных финансистами в годы войны злоупотреблений, за которые налагались огромные штрафы, что всякий раз позволяло существенно снизить государственный долг. По отношению же к иностранным кредиторам применить подобные методы оказалось просто



невозможно. И хотя за время своего министерства Неккер приобрел в глазах общественного мнения высочайшую популярность как человек, способный доставать деньги «из воздуха», своим преемникам он оставил гигантский государственный долг, поставивший страну на грань банкротства. В 1787 г. на обслуживание этого долга уходило до 50% всего бюджета. Для сравнения заметим, что военные расходы забирали 26%, а затраты на содержание двора – любимая тема оппозиционной печати – вместе с пенсиями (в том числе ветеранам) составляли лишь 8%.

Таким образом, несмотря на сложившуюся тогда в силу упомянутых ранее факторов крайне трудную экономическую ситуацию, французская монархия была вынуждена пойти на финансовые реформы, которые не могли не встретить ожесточенного сопротивления со стороны прежних элит, не желавших расставаться с привилегиями. Причем, как показало собрание нотаблей 1787 г., в своей борьбе за узкокорпоративные интересы привилегированные сословия охотно использовали, в духе времени, идеи и фразеологию Просвещения. Критика, которой оппозиционная публицистика подвергала власти, подрывала авторитет монархии среди значительной части подданных, особенно в городах. И если в прежние годы участие «низов» в политической борьбе сводилось в основном к моральной поддержке оппозиции и лишь изредка принимало форму уличных беспорядков, непродолжительных и спорадических, то во второй половине 80-х, когда снижение уровня жизни в результате экономического кризиса вызвало резкий всплеск активности этой ранее политически индифферентной части общества, ситуация резко изменилась в худшую сторону.

Как видим, вопреки некогда распространенному в либеральной историографии мнению о «косности» французской монархии Старого порядка, импульс к переменам шел на деле именно «сверху», от самой власти. Однако ей пришлось искать пути выхода из тяжелейшего финансового кризиса в крайне неблагоприятной общественной обстановке. Экономический спад до предела обострил недовольство «низов» и сделал их весьма восприимчивыми к популистским лозунгам антиправительственной оппозиции. Напротив, правительство, пытавшееся проводить преобразования, не пользовалось в обществе ни авторитетом, ни доверием, а слабый, нерешительный король по своим личным качествам совершенно не отвечал тем требованиям, которые предъявлялись к главе государства в столь критической ситуации.

Финансовый дефицит, падение цен, неурожай, фронда знати и парламента, голодные бунты, слабость центральной власти – все это бывало в истории Франции и раньше, но в разные периоды. Одновременное же действие всех этих негативных факторов вызвало тот социальный резонанс, который и привел к краху Старого порядка.

Впрочем, для того чтобы кризис превратился в революцию, ведущую к смене правящих элит, нужна была та самая новая элита, которая заменила бы прежние.

Как уже отмечалось выше, долгое время в «классической» историографии доминировала точка зрения о том, что социальной группой, возглавившей революционное движение против монархии Старого порядка, была предпринимательская буржуазия, якобы отстранившая в результате револю-

ции дворянство от власти. Однако во второй половине XX в. исследования по социальной и экономической истории, проводившиеся французскими, английскими и американскими учеными, показали, что лица, занимавшиеся во Франции XVIII в. капиталистическим предпринимательством, не представляли собой сколько-нибудь целостной социальной группы, обладавшей общими и тем более осознанными интересами. Различными видами предпринимательства тогда занимался широкий круг людей, принадлежавших к самым разным сословиям. Мы уже видели, что в металлургической промышленности доминировал дворянский капитал, а духовенство контролировало в этой сфере экономики довольно существенный сектор. Дворяне активно участвовали также в трансатлантической торговле и финансовых операциях. С другой стороны, представители третьего сословия, достигавшие предпринимательской деятельностью определенного преуспевания, нередко аноблировались, покупая земельные владения или должности, дающие право на дворянский титул. При крайней пестроте социального состава круга лиц, занятых предпринимательством, ничуть не удивительно, что в ходе Революции эта общественная группа не демонстрировала сколько-нибудь единой, более или менее четко выраженной политической позиции. Представителей предпринимательской буржуазии можно было встретить среди как сторонников революционных преобразований, так и их противников, причем среди ни тех, ни других они не находились на первых ролях. Иными словами, если какая-либо социальная группа и может претендовать на звание лидера или «гегемона» Революции, то уж явно не эта, идеологически крайне разрозненная и политически весьма пассивная.

Проводившиеся во второй половине XX в. исторические исследования вдохнули новую жизнь в идеологическую интерпретацию истоков Французской революции, разумеется, на принципиально новом научном уровне. Как показывают социокультурные разыскания последних десятилетий, общим знаменателем, позволяющим рассматривать в качестве некоего целого тот круг лиц, что стоял во главе революционного движения, было не их отношение к тем или иным видам хозяйственной деятельности, а готовность (декларируемая или искренняя) реализовать на практике принципы Просвещения. Соответственно в современной исторической литературе для обозначения данной социальной группы используется условное понятие «просвещенная элита».

Это политически активное меньшинство сформировалось во второй половине XVIII в., когда вся Франция мало-помалу покрылась густой сетью разнообразных общественных объединений: естественнонаучных, философских и агрономических кружков, провинциальных академий, библиотек, масонских лож, музеев, литературных салонов и т.п., – ставших источниками распространения просветительских идей. В отличие от традиционных для Старого порядка объединений эти ассоциации имели надсословный характер и строились на более или менее демократической основе. Среди их членов можно было встретить и дворян, и священнослужителей, и чиновников, и представителей образованной верхушки третьего сословия. Должностные лица таких обществ, как правило, избирались голосованием на альтернативной основе. Просветительские ассоциации разных городов имели между собой тесные и постоянные связи, образуя единую социокультурную среду,

в которой и сформировалось сообщество представителей всех сословий, стремившихся к воплощению в жизнь таких идей Просвещения, как народный суверенитет, права человека, веротерпимость и т.д.

Мощный толчок для распространения подобных настроений во Франции дала Американская революция, продемонстрировавшая возможность реализации этих принципов на практике. Она вызывала горячие симпатии просвещенных французов и способствовала росту популярности в их среде революционных идей.

С осени 1788 г. «просвещенная элита» фактически возглавила общенациональное движение во Франции за решительные изменения в общественном и государственном строе. Перехватив у правительства инициативу в осуществлении преобразований, она придала им такой размах и радикализм, при которых конечной целью перемен становилось уже не реформирование Старого порядка, а его полная ликвидация и замена новым.

## ОТ СТАРОГО ПОРЯДКА К НОВОМУ

Начиная свой рассказ о Революции, французский историк Ф. Фюре писал, что «она дала имя тому, что сама же упразднила. Она назвала это “Старым порядком”». Однако тем самым она определяла не столько то, что уничтожала, сколько то, чем стремилась стать: радикальным разрывом с прошлым, отбрасываемым назад, во тьму варварства». Хотя данное определение Старого порядка и кажется, на первый взгляд, слишком расплывчатым, оно в то же время абсолютно верно. Это понятие с феноменальной быстротой формировалось прежде всего в области воображаемого и имело весьма опосредованное отношение к реальности – к той политической системе и к тому экономическому состоянию Франции, которые были рассмотрены в предыдущем разделе. Могущественная страна, пытавшаяся выйти из экономического кризиса, тысячелетняя монархия, отчаянно старавшаяся самореформироваться, представляла в многочисленных газетах и памфлетах государством, находящимся на пороге катастрофы и руководимым настолько волюнтаристски бездарно, что к ее королю и правительству можно было применить лишь одно слово: «деспотизм». Словосочетание «Старый порядок» очень быстро стало синонимом косности, непроизводительных трат, бессмысленной смены министров, национального унижения едва ли не во всех войнах XVIII в.

Причину подобного состояния дел современники видели в первую очередь в бесконтрольности королевской власти. На эти мысли наводили сравнения с давним и куда более успешным соперником – Англией, однако не только они. Любопытный парадокс: хотя обе попытки ограничить влияние парламентов, позиционировавших себя в качестве защитников интересов народа, потерпели крах (реформа Мопу в 70-х и реформа Ламуаньона в 80-х годах XVIII в.), в обоих случаях монархия шла на попятный по своей воле (хотя и под давлением обстоятельств). Это лишь подкрепляло ощущение произвола королевской власти. Покончить с ним считали своим долгом многие депутаты Генеральных штатов, и не только от третьего сословия.

Однако открытие Генеральных штатов 5 мая 1789 г. разочаровало сторонников перемен. Людовик XVI стремился прежде всего к решению финансовых проблем, широкой программы реформ правительство не предложило. Судя по всему, власть не до конца осознавала, что за предшествовавшие несколько лет ее положение в обществе существеннейшим образом изменилось. Выборы в Генеральные штаты неожиданно для правительства вызвали бурный всплеск публицистической активности. Оппозиция уже не представляла собой конгломерат разнонаправленных и разрозненных сил, часть ее сумела самоорганизоваться и провозгласить себя «патриотической партией». Ее ядром стала группировка, которая впоследствии получит название «Комитета тридцати». В него входили такие влиятельные политики и публицисты, как А. Дюпор; епископ Отена Ш.М. Талейран-Перигор; М.Ж. дю Мотье, маркиз де Лафайет; О.Г. Рикети, граф де Мирабо; аббат Э.Ж. Сийес. Избранные в Генеральные штаты, они стремились стать лидерами рвущихся к власти депутатов от третьего сословия. Вместе с другими выдвинувшимися в 1787–1789 гг. политиками (такими как адвокат из Гренобля Ж.Ж. Мунье

и астроном Ж.С. Байи) они взяли курс на утверждение верховенства третьего сословия в Генеральных штатах. Как писал незадолго до того популярный журналист и аналитик Ж. Малле дю Пан: «Характер полемики совершенно изменился. Король, деспотизм и конституция – теперь уже вопросы второстепенные. Война разгорелась между третьим сословием и двумя другими».

Для сторонников доминирования третьего сословия идейным обоснованием этой «войны» стала новая система ориентиров и ценностей, краеугольным камнем которой сделалось понятие «нация». К 1789 г. оно уже не было новым, однако взлет популярности этого слова оказался настолько быстр, что даже не все успевали разобраться, что за ним стоит. Еще до начала революции аббат Сийес выдвинул парадоксальную идею о том, что «если удалить привилегированное сословие, нация отнюдь не станет меньше, она лишь станет больше»; имелось в виду, что дворянство и духовенство необходимо вывести за пределы нации, поскольку она должна объединять лишь тех, кто вносит вклад в общее дело. Зримым выражением будущего единства, по его мнению, должно было стать упразднение всех привилегий. При этом понятие «нация» оказалось для депутатов значительно более приемлемым, чем слово «народ», вызывающее ненужные ассоциации с плебсом.

Концепция нации оказалась востребована в это время отнюдь не случайно. Депутаты Генеральных штатов традиционно считались собранными по воле короля представителями нации, и именно эта двойственность положения открывала для них возможность играть самостоятельную политическую роль. Ведь в соответствии с популярными идеологическими концепциями века Просвещения публичная власть основывалась не на божественном праве, а на заключенном в незапамятные времена общественном договоре, создавшем верховного суверена – народ, нацию, обладающую общей волей. Именно в силу решения этого суверена в ряде стран верховная власть была «временно» вручена королям. Соответственно официальное признание подобных идей давало безграничные возможности по «легальному» реформированию политического устройства Франции вплоть до изменения формы правления, стоило лишь депутатам объявить себя полновластными представителями нации и добиться всеобщего признания в качестве таковых.

Следуя этой логике, депутаты Генеральных штатов (прежде всего от третьего сословия) вскоре после открытия заседаний стали претендовать на полномочия, немыслимые в рамках Старого порядка. Хотя по традиции они должны были руководствоваться составленными избирателями наказами (т.е. исполнять императивный мандат), 17 июня 1789 г. даже не все Генеральные штаты, а лишь представители третьего сословия объявили себя Национальным собранием, которому одному «принадлежит право выражать и представлять общую волю нации». Впоследствии к ним присоединились и представители двух других сословий. Развивая успех, меньше чем через месяц Национальное собрание провозгласило себя Учредительным, обязавшись тем самым дать стране конституцию.

К концу лета депутаты подготовили и 26 августа утвердили ее преамбулу – Декларацию прав человека и гражданина. По этому тексту видно, как к 1789 г. формируется относительно единая система ценностей, выработанная Просвещением. Декларация открывалась следующими словами: «Представители французского народа, объединенные в Национальное собрание и

полагая, что невежество, забвение прав человека и пренебрежение к ним являются единственными причинами общественных бедствий и пороков правительств, приняли решение изложить в торжественной декларации естественные, неотъемлемые и священные права человека».

Первая статья Декларации гласила: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах». Естественными и неотъемлемыми правами человека объявлялись свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению. В их число не входило равенство, однако Декларация провозглашала, что все граждане имеют право участвовать в разработке законов, которые должны быть едины для всех. Также постулировалось равное налогообложение и равный доступ к общественным должностям. Депутаты сочли необходимым пояснить, что «свобода состоит в возможности делать все, что не приносит вреда другому», и отдельно закрепили в Декларации свободу слова и вероисповеданий, а также презумпцию невиновности. Все привилегии, сословия, цехи и корпорации, титулы и рыцарские ордена упразднились.

Таким образом, Декларация прав человека и гражданина возвещала гибель Старого порядка и вместе с тем формулировала программу на будущее. При этом никакая конкретная форма правления Декларацией не предусматривалась. Законодатели предпочли не связывать себе руки и намеренно составили текст, способный лечь в основу любого государственного устройства. Тем не менее ссылка на необходимость обеспечить разделение властей фактически исключала как возможность возвращения к неограниченной монархии, так и возможность установления прямой демократии.

Эти принципы, на которых должно быть основано новое общество, станут впоследствии называть «принципами 1789 года». Именно их нередко будут рассматривать в качестве одного из самых важных завоеваний революции, со временем они сделаются неотъемлемой частью современных политических теорий. Предполагалось, что их провозглашение даст законодателям необходимые ориентиры для создания новой конституции, в центре которой окажется уже не суверенитет короля, а суверенитет нации. Дебаты по отдельным ее статьям заняли более двух лет, и лишь в начале сентября 1791 г. Франция превратилась в конституционную монархию в полном смысле этого слова.

Как отмечал исследователь французской исторической лексики Ф. Брюно, за эти годы «все, что было королевским, стало национальным». И значительная часть усилий Учредительного собрания была направлена именно на то, чтобы превратить французов в монолитную нацию. На пути к единству стояли сословные привилегии – их отменили вместе с самими сословиями и дворянскими титулами. Национальному единству препятствовал партикуляризм провинций, поэтому сначала отказались от их привилегий, а затем и вовсе покончили со старым административным делением страны, создав 83 более или менее равных по территории департамента, получивших названия от топонимов (Сена-и-Марна, Верхние Альпы, и т.д.). В 1790 г. специальной комиссии с участием знаменитых математиков, астрономов, физиков и химиков было поручено разработать новую единую систему мер и весов, способную заменить конгломерат крайне запутанных локальных систем

измерений; эта работа была завершена значительно позже, уже во времена Конвента.

Особого осмысления потребовала проблема выражения воли нации. При невозможности организовать референдум по каждому законопроекту было решено, что «нация, единственный источник всей власти, осуществляет ее лишь путем делегирования» своих полномочий будущему законодательному корпусу и королю. Противоречие между принадлежностью к нации всех жителей страны и нежеланием депутатов доверять избрание членов законодательного корпуса и других органов власти женщинам и беднякам было устранено путем разделения всех граждан страны на «активных» и «пассивных». Мужчины старше 25 лет, не находившиеся в услужении и уплачивавшие прямой налог в размере стоимости трех рабочих дней, считались «активными» и получали право голоса; остальные пользовались лишь защитой закона.

Одновременно предполагалось, что депутаты, нынешние и будущие, получают свои полномочия от всего народа, а не от избравшего их города или департамента, поскольку воля нации едина и неделима. В силу этой же идеологии оказалось невозможным и возникновение политических партий, подобных английским вигам и тори. Напротив, само слово «партия» носило негативный оттенок, поскольку принадлежность к ней, как полагали, неминуемо раскалывала волю нации, заставляла человека поступать по воле руководства партии, а не избирателей, принимать решения в соответствии с партийными интересами, а значит, во вред общему благу.

Другое дело, что в реальности те или иные объединения граждан все равно возникали. Для первых лет революции они нередко принимали облик традиционной для Старого порядка клиентелы, следующей в фарватере своего патрона (такие разветвленные клиентелы, к примеру, были у героя Войны за независимость США, популярного генерала Лафайета и у обладавших немалым влиянием братьев А. и Ш. Ламетов). С 1788 г. стали появляться и новые формы – клубы, создававшиеся по аналогии с теми многочисленными общественными объединениями XVIII в., о которых шла речь в предыдущем разделе этой главы. В некоторых из них существовал вступительный взнос, часть клубов предполагала четко оформленное членство, однако участие в работе клуба, как правило, не предусматривало ни «партийной дисциплины», ни совместного участия в выборах, ни солидарного голосования в органах власти.

Первым из таких объединений считается Бретонский клуб, организованный в июне 1789 г. вокруг депутатов Генеральных штатов из Бретани. Осенью 1789 г. образуется знаменитое «Общество друзей конституции», в которое также входила часть депутатов Учредительного собрания. Переехав из Версаля в Париж, оно обосновалось в бывшем монастыре якобинцев на улице Сент-Оноре, в двух шагах от дворца Тюильри, и вскоре получило название Якобинского клуба. Постепенно в других городах стали появляться его филиалы, которые обладали значительной автономией и не подчинялись напрямую центральному обществу, однако активно обменивались с ним текстами речей, петициями, информацией. Это позволяло Якобинскому клубу хорошо представлять себе, что происходит в стране и одновременно оказывать влияние на ситуацию на местах. В июне 1790 г. таких филиалов насчи-

тывалось уже около ста, а через год – более четырехсот. Более демократичным по своему составу был другой, не менее знаменитый клуб «Общество друзей прав человека и гражданина», заседавшее в монастыре кордельеров (соответственно, его называли Клубом кордельеров). Оно возникло весной 1790 г., членские взносы там были ниже, чем у якобинцев, меньше было и депутатов, однако в нем выступали молодые революционеры, которые приобрели широкую известность чуть позже: адвокат Ж.Ж. Дантон, журналист К. Демулен. Именно этот клуб со временем стал ядром республиканского движения в Париже.

Члены клубов более или менее регулярно собирались для обсуждения политических проблем. Подобно журналистам и публицистам они формировали общественное мнение, высказывали различные точки зрения на происходящее, осуществляли контроль «народа» за властями. Но, разумеется, свобода слова реализовывалась отнюдь не только в рамках клубного движения. Участие в выборах в Генеральные штаты, а затем и в работе Учредительного собрания во многом предусматривало публичность. Выпускалось множество памфлетов, проводились многочисленные собрания, самые яркие речи попадали в газеты, возникавшие одна за другой как на местном уровне, так и в столице. По подсчетам исследователей, с 5 мая 1789 г. до конца года стало выходить не менее 250 регулярных изданий, за 1790 г. – еще 350 (всего же с 1789 по 1800 г. существовало более 1350 газет). Благодаря прессе, популярные ораторы в одночасье приобретали национальную известность и превращались в не имевших формальной власти, но пользовавшихся огромным влиянием «владык умов» (*chefs d'opinion*).

Пожалуй, самым популярным из них в эти годы был Мирабо. Прирожденный оратор, огромный, могучий, с громовым голосом, он легко подчинял себе Учредительное собрание и казался многим живым воплощением революции. В юности он вел весьма разгульную жизнь, несколько раз попадал в тюрьму, рассорился с семьей. Шанса удовлетворить свои амбиции в рамках традиционных институтов при такой репутации у него не было, и Мирабо сделал ставку на перемены, пройдя в Генеральные штаты по спискам третьего сословия. Когда весной 1791 г. он скончался в зените славы, Собрание постановило похоронить его в церкви Св. Женеьевы в Париже, превращенной по такому случаю в Пантеон великих людей. И лишь позднее, после падения монархии, выяснилось, что долгое время Мирабо состоял в тайной переписке с королевской семьей и принимал от нее деньги. Кумир был развенчан.

Хотя все стремившиеся к популярности «владыки умов» выдвигали в начале революции требование ограничения королевской власти, среди революционеров не было единства. Самым ярким свидетельством этого стал стремительный уход с политической арены группы приверженцев конституционной монархии по английскому образцу (*monarchiens*), оказывавших немалое влияние на работу Собрания (в их число среди прочих входили члены конституционного комитета Ж.Ж. Мунье, П.В. Малуэ и Т.Ж. Лалли-Толендаль). Оказавшись не в силах добиться согласия коллег на формирование двухпалатного законодательного корпуса и на признание права короля налагать безусловное вето на решения депутатов, потрясенные агрессивностью наро-



да по отношению к королевской семье, эти политики постепенно покидали Учредительное собрание и отправлялись в эмиграцию.

Эмиграция стала прибежищем многих из тех, кто не смог или не захотел принять перемены. Исследователи сходятся во мнении, что общее число эмигрантов за годы революции достигло 100–150 тыс. человек, дворянство составляло из них всего 17%, около 25% – духовенство, остальные принадлежали к третьему сословию (крестьян уехало из страны больше, чем дворян). Таким образом, нация оказалась расколота не только политически, но и физически.

На пути к национальному единству существовало немало и иных препятствий. Прежде всего стремясь сделать революцию необратимой на всей территории страны, Учредительное собрание постаралось, чтобы назначение должностных лиц было заменено их выборностью. Старые органы местной власти смещались и заменялись новыми – муниципалитетами (этот процесс получил название «муниципальной революции»). Однако платой за внедрение демократических начал стало превращение французов, по словам Мирабо, в «аморфную массу разобщенных народов», перед которыми встала задача превратиться в «осознающую саму себя и свой суверенитет нацию». Эта задача была решена за счет идеи федерации, т.е. своеобразной формы объединения, «братского союза» представителей различных муниципалитетов, выступавших за проводимые в стране преобразования и готовых дать отпор их противникам. Ее высшей точкой стал проведенный в Париже 14 июля 1790 г. праздник Федерации, в ходе которого съехавшиеся со всех концов страны французы в полной мере ощутили свое единство не только друг с другом, но и с королем, публично поклявшимся соблюдать конституцию. «Предатели нации боятся федерации», – пели тогда в Париже.

Другой проблемой стало трудноразрешимое противоречие: жесткая централизаторская политика спланировала французов в единую нацию, но в результате декреты, принимавшиеся в Версале, а затем в Париже, нередко воспринимались на местах как стремление столицы навязать народу свою волю и тем самым вызывали отторжение. В своем стремлении объединить нацию депутаты в то же самое время усиливали факторы, нарушающие это единство. К 1793 г., когда давление центра станет особенно сильным, неожиданно выяснится, что в различных по уровню экономического развития и по силе привязанности к локальным обычаям частях страны люди готовы братья за оружие, чтобы отстоять свою самостоятельность. Слово «федерализм» станет синонимом «сепаратизма», восстанут Лион, Бордо, Марсель, начнутся волнения в Бретани и Нормандии, поднимутся юг и юго-запад. Во времена диктатуры монтаньяров против столицы выступят более 60 департаментов из 83-х.

Ситуация усугублялась тем, что с первых дней революции парижане ощутили себя ее движущей силой и уверовали, что народное восстание является самым эффективным инструментом для того, чтобы подталкивать ее «вперед». Датой начала революции традиционно считается восстание 14 июля 1789 г., когда ответом на стягивание войск к Версалю и увольнение популярного министра Неккера штурмом была взята знаменитая королевская тюрьма Бастилия – символ деспотизма. Тремя месяцами позже, после событий 5–6 октября, резиденция короля и Собрания была перенесена в Париж.

В результате власти оказались под постоянным надзором парижан, которые получили возможность оказывать на них прямое давление.

Еще одним фактором, раскалывавшим единство нации, сделался религиозный конфликт, развивавшийся совсем по иным направлениям, нежели в предшествующие века. Для Учредительного собрания он стал во многом неожиданным: казалось бы, правительственная политика в духовной сфере, напротив, должна была исключить всякую конфронтацию. Еще на излете Старого порядка монархии практически удалось решить проблему протестантов: поставленные в жесткую оппозицию к власти после отмены Нантского эдикта в 1685 г., они обрели гражданские права по королевскому указу 1787 г. Полтора десятка из них стали депутатами Учредительного собрания. В это число входили шесть пасторов и ряд политиков, приобретших вскоре национальную известность: в частности Ж.П. Рабо Сент-Этьен, будущий жирондист и депутат Конвента, прославившийся выступлениями по религиозным вопросам (в историю вошла его знаменитая фраза: «Я требую не терпимости, а свободы!») и будущий влиятельный термидорианец Ф.А. Буасси д'Англа. В декабре 1789 г. Учредительное собрание открыло протестантам свободный доступ ко всем должностям в администрации и в армии, а затем приняло декрет, по которому потомкам протестантов, эмигрировавших из страны в ходе Религиозных войн, возвращались их земли. Значительно позже и с существенно большими сложностями получили права гражданства и евреи, хотя, в отличие от протестантов, они в основной массе не спешили участвовать в революции или использовать свое право голоса.

Таким образом, Учредительное собрание сумело сгладить остроту религиозных противоречий. И тут же разрушило хрупкий мир своими же руками. 2 ноября 1789 г. оно издало декрет, объявив все церковные имущества перешедшими в собственность нации (отсюда и название «национальные имущества», принятое в ходе революции для конфискованных владений). Эта идея была предложена одним из иерархов французской Католической церкви Талейраном, епископом Отенским. Несмотря на протесты духовенства, он с легкостью убедил депутатов, что эта мера поможет решить финансовые проблемы и в то же время не затронет базовый принцип собственности, поскольку церковь нельзя признать таким же собственником, как и остальных. Под обеспечение национальных имуществ были выпущены специальные ценные бумаги, ассигнаты, превратившиеся вскоре в результате дополнительных эмиссий в стремительно обесценивающиеся бумажные деньги. Люди, приобретавшие национальные имущества или получавшие прибыль от их перепродажи, вливались в слой новых собственников, кровно заинтересованных в необратимости произошедших перемен.

Летом–осенью 1790 г. церковная реформа вступила в новую фазу. По решению законодателей было учреждено так называемое «гражданское устройство духовенства»: французская церковь полностью выводилась из сферы влияния папы римского и переходила под контроль государства. Должности епископов и священников становились выборными, все клирики начали получать от государства жалованье и должны были присягнуть на верность «нации, закону и королю». Ряд функций церкви (регистрация рождений, смертей и браков) передавался в руки светских властей.

На первый взгляд, в этой реформе был свой смысл: раз духовенство оказалось лишено возможности жить за счет земельных владений церкви, государство вынуждено было взять его на содержание, требуя взамен полной лояльности. К тому же изменение основ существования церкви во Франции следовало той же логике, что и преобразования в других сферах. На всей территории страны жизнь духовенства была унифицирована, кюре и епископы избирались активными гражданами по приходам и департаментам, сокращался характерный для Старого порядка разрыв между высшим и низшим клиром.

Однако неожиданно для законодателей реформа расколола духовенство на «присягнувшее» и «неприсягнувшее». Лишь семь епископов, включая Талейрана и Ж.Б.Ж. Гобея, который позднее примкнул к эбертистам и отрекся от сана, согласились принести присягу. Дать клятву согласились примерно 52% священников. При том, что папа римский весной 1791 г. осудил реформу, а «неприсягнувшим» поначалу было разрешено продолжать свою пастырскую деятельность (хотя они лишались денежного содержания), вокруг них получили легальную возможность группироваться противники нового режима. Впоследствии немало священников сыграли значительную роль в контрреволюционном движении, епископы Тура и Арраса стали советниками и помощниками эмигрировавших принцев.

На примере гражданского устройства духовенства просматривается весьма характерный для революции ожесточенный конфликт интересов, граница которого проходила отнюдь не между социальными слоями. Не менее показательным примером такого конфликта могут послужить и противоречия между интересами крестьян и городского населения, сыгравшего в революции ведущую роль. Когда с весны 1789 г. по всей стране начались крестьянские восстания, заслужившие в историографии название «крестьянской революции», Учредительное собрание отреагировало на них запоздало, хотя и весьма эффектно. 4–11 августа 1789 г. по инициативе дворянства, обеспокоенного ситуацией в деревне, оно обсудило и приняло серию декретов, провозглашавших, в частности, отказ от личных сеньориальных прав: судебных, исключительного права охоты, права «мертвой руки» и ряда других. Все крестьяне во Франции становились лично свободными. Десятина упразднялась. Что же касается платежей и повинностей, они были расценены как обычная частная собственность владельцев земель, их дозволялось лишь выкупать.

Ночь с 4 на 5 августа, когда аристократы один за другим поднимались на трибуну Собрания, отрекаясь от своих привилегий, вошла в историю как «Ночь чудес». Однако беспрецедентные по сути, эти решения оказались на удивление малоэффективны с точки зрения крестьянства. Удовлетворив его в символическом плане, они совершенно не устроили население деревень в плане материальном. Узнав о том, что «Национальное собрание полностью разрушило феодальный порядок», сельские жители стали отказываться платить землевладельцам вообще что бы то ни было, а попытка и далее взимать сеньориальные платежи вызвала лишь новую волну восстаний. Организовать их подавление депутатам так и не удалось. Будучи преимущественно городскими жителями, они плохо понимали причины ожесточения крестьян. К тому же в новой системе ценностей отношение к бунтам и восстаниям

начало приобретать совершенно иные черты, нежели ранее. Стремясь легитимизировать задним числом те события, которые расшатывали основы королевской власти и тем самым укрепляли могущество Национального собрания, депутаты включили в Декларацию прав столь же расплывчатое, сколь и многозначительное «право на сопротивление угнетению». Оценивая крестьянские восстания, бушевавшие летом 1789 г., герцог д'Эгийон, один из самых богатых людей Франции, говорил: «Это не просто разбойники, стремящиеся с оружием в руках обогатиться во времена бедствий. Во многих провинциях весь Народ <...> стремится сбросить наконец то ярмо, которое давило на него на протяжении стольких веков. Стоит признать, господа, что это восстание хотя и преступно, как преступно любое неистовое насилие, может все же найти себе оправдание в притеснениях».

Таким образом, хотя в реальности французская нация складывалась еще долгие годы, хотя к факторам, исторически препятствовавшим единству, Учредительное собрание, само того не желая, добавило ряд новых, 1789 год ознаменовал рождение этой нации по крайней мере на идейном и законодательном уровнях. На смену самому страшному преступлению Старого порядка, «оскорблению величества» (*lèse-majesté*) пришло «оскорбление нации» (*lèse-nation*). Изменилась и символика. Знаменем революционной Франции стал знаменитый «триколор» с синей, белой и красной полосами. Существует несколько легенд о его возникновении. Согласно самой распространенной, его появление датируется 17 июля 1789 г., когда Людовик XVI согласился в знак примирения разместить на своей шляпе рядом с белой монархической кокардой синие и красные ленты цветов города Парижа. Другая легенда утверждает, что этот знак должен был показывать единство трех сословий: голубой цвет символизировал третье сословие, белый – духовенство, красный – дворянство. Так или иначе, поначалу и порядок цветов и ориентация полос варьировались, пока 15 февраля 1794 г. Конвент не принял декрет, увековечивший их современное расположение.

Однако Старый порядок сменился новым отнюдь не только в символическом плане. К 1791 г. на месте древнего королевства оказалась совершенно новая страна. Остались в прошлом монархия божественного права и сеньориальный порядок, законодательная власть перешла из рук короля в руки «представителей народа», церковь была взята под контроль государства. Административно-территориальное деление и законодательство этой страны стали совершенно иными, сменилась и идейная основа самой власти: на смену традициям и фундаментальным законам монархии пришла конституция, в которой закреплялись принципы народовластия и естественного права. Суверенитет короля уступил место суверенитету нации.

## ТЕРРОР

5 сентября 1793 г. многолюдная манифестация парижан в стенах Конвента потребовала от национального представительства «поставить террор в порядок дня». Предложение было с готовностью встречено депутатами, которые тут же приняли ряд мер, облегчавших преследование «врагов революции». В последующие месяцы, вплоть до 9 термидора II года Республики (27 июля 1794 г.), репрессивная политика революционного правительства приобретала все более систематизированный и широкий характер. Соответственно весь этот период революции в исторической литературе получил краткое, но зловещее наименование: «Террор».

Хотя в хронологии революции 1789–1799 гг. эпоха Террора занимает относительно небольшой отрезок времени (менее года), ей традиционно придается важное значение при оценке всего революционного десятилетия. Ведь сколько бы апологеты Французской революции не восхищались ее достижениями, им неизбежно приходится возвращаться к неудобному и трудному для себя вопросу: почему начатая во имя идей свободы, справедливости и терпимости эта революция затем породила систему целенаправленного и хладнокровного уничтожения тысяч людей, в большинстве своем далеких от политики и ни в чем не виноватых? Без сколько-нибудь четкого ответа на этот вопрос никакая трактовка Революции не выглядит убедительной.

За двести с лишним лет, минувших после Французской революции, феномену Террора предлагалось множество объяснений, сначала современниками революционных событий, затем историками. Однако, несмотря на кажущуюся разнголосоицу столь многолюдного хора в партиях всех его участников, если внимательно к ним прислушаться, легко различимы три доминирующих мотива, звучащие либо по отдельности, либо в различных сочетаниях. Их можно условно определить как «мотив обстоятельств», «социальный мотив» и «мотив утопии».

«Мотив обстоятельств» впервые прозвучал едва ли не сразу по окончании Террора – уже в ближайшие недели после «революции 9 термидора». Не прошло и месяца после свержения «робеспьеристского триумvirата», как некоторые депутаты Конвента попытались возложить вину за преступления Террора также на Б. Барера, Ж.Н. Бийо-Варенна и Ж.М. Колло д'Эрбуа – тех членов Комитета общественного спасения, которые и сами участвовали в перевороте. В свое оправдание обвиняемые выдвинули тезис о том, что их действия, в отличие от политики «кровожадных» робеспьеристов, диктовались исключительно силой обстоятельств. Классическую формулировку этого мотива дал Л. Карно, выступивший весной 1795 г. в защиту своих бывших коллег по Комитету общественного спасения: «Не следует ли, наконец, сопоставить факты с теми ужасными обстоятельствами, которые их вызвали? Разве обстоятельства, в которых находилась Франция, были обычными? (...) неприятель вторгся со всех сторон; для защиты крепостей в арсеналах не имелось ни пушек, ни пороха; мы обладали малочисленными, плохо дисциплинированными войсками с генералами-предателями во главе;

надо было призвать миллион солдат в тот момент, когда уже первый набор в 300 тыс. человек вызвал восстание, вооружить их, хотя склады были пусты, экипировать при недостатке сырья, наконец, прокормить их в границах Республики продовольствием с ее же территории при том, что часть этой территории была опустошена вражескими армиями и повсюду ощущалась нехватка провизии; и все это происходило в обстановке самого упорного сопротивления и в окружении активно действующих фракций. Не считаете ли вы, граждане, что все это можно было сделать без средств принуждения?»

Особенно громко «мотив обстоятельств» зазвучал во время Реставрации, когда большинство «цареубийц» – депутатов Конвента, проголосовавших за казнь Людовика XVI, – подверглись гонениям, а роялистская публицистика стала отождествлять прошедшую революцию с Террором. Вот тогда-то в воспоминаниях многих бывших революционеров и людей им сочувствующих апелляция к «обстоятельствам» стала общим местом. Писатель Ш. Нодье, например, утверждал: «События бывают гораздо сильнее характеров и (...) если некоторые люди давили на своем пути народы, то лишь потому, что их толкала сила столь же непреодолимая, как та, что пробуждает вулканы и низвергает водопады».

Этот же «мотив» доминировал и в получивших широкую известность мемуарах бывшего члена Конвента Р. Левассёра: «Никто не думал устанавливать систему террора. Она была создана силой обстоятельств...» По его словам, репрессии 1793–1794 гг. были вызваны необходимостью борьбы с интервенцией и внутренней контрреволюцией.

Бывший член Конвента, а затем граф империи А.К. Тибодо в своих «Мемуарах о Конвенте и Директории» (1824) также писал о стихийном характере возникновения и распространения Террора. «Ничто не было так далеко от систематичности, как террор (...), – доказывал он. – Именно сопротивление внешних и внутренних врагов революции мало-помалу довело дело до террора».

Из сочинений участников революционных событий «мотив обстоятельств» переключался в труды либеральных историков XIX в., которые, объясняя происхождение Террора «силой вещей», стремились оправдать Революцию в глазах новых поколений французов, ее не заставших. «Как могли они [революционеры], – риторически вопрошал Ф. Минье, – победить иностранных врагов без фанатизма, обуздать клики, не сея террор, накормить толпу без максимума и содержать армию без реквизиций?»

Доминировал «мотив обстоятельств» на исходе XIX – начале XX в. и в работах А. Олара, главного официального историографа Французской революции при Третьей республике. Да и сегодня «мотив обстоятельств» сам по себе или в сочетании с другими по-прежнему достаточно часто встречается в исторической литературе, в частности во многих учебных пособиях.

Между тем уже некоторые современники революционных событий высказывали сомнения относительно возможности объяснить Террор одной лишь «силой вещей». Так, П. Баррас, активный участник термидорианского переворота, а затем фактический глава Директории, в своих «Мемуарах» (опубл. 1895–1896) отмечал, что ссылка на обстоятельства не позволяет понять явление в целом: «...Хотя может показаться, что ту эпоху легко объяснить чувствами, побуждениями и взглядами, обусловленными вторжением в

страну неприятеля, тем не менее в причинах, которые привели к подобному состоянию всеобщего террора, есть нечто до сих пор не постижимое...»

В 60-е годы XIX в. французский историк Э. Кине подверг «мотив обстоятельств» обстоятельной критике, сохранившей свое значение и доныне. Он обратил внимание на то, что сторонники подобного объяснения постоянно совершают хронологическую инверсию, поскольку ни один из актов Террора не становился непосредственной причиной или условием последующих военных успехов; напротив, самые жестокие репрессии всегда имели место уже *после* одержанных побед. Восставший против революционного правительства Лион пал 9 октября 1793 г. в результате массированного артиллерийского обстрела и захвата республиканской армией высот на правом берегу Санны. Массовый же террор в этом городе начался только месяц спустя, после прибытия туда представителей Конвента Колло д'Эрбуа и Фуше. Вандейские повстанцы потерпели поражение под Нантом еще в июне 1793 г., а тысячи пленных и арестованных были утоплены в Нанте по приказу представителя Конвента Ж.Б. Каррье лишь в конце того же года.

### ТЕРРОР В НАНТЕ

«Получив распоряжение военной комиссии засвидетельствовать беременность большого количества женщин, содержащихся в помещении складов, я обнаружил там множество трупов; я видел там детей, бьющихся или утопленных в полных экскрементами лоханях. Я проходил по огромным помещениям; мое появление заставляло женщин трепетать: они не видели других мужчин, кроме палачей... Я засвидетельствовал беременность тридцати из них; многие из них были беременны уже семь или восемь месяцев; через несколько дней я вернулся, чтобы вновь их осмотреть... Я свидетельствую, и душа моя разрывается от горя: эти несчастные женщины были сброшены в реку! Эти картины мучительны, они поражают человечество; однако я должен дать суду самый точный отчет о том, что знаю».

*Показания врача Жоржа Тома, свидетеля на проходившем в Париже в сентябре-декабре 1794 г. процессе над членами Революционного комитета Нанта и бывшим представителем Конвента в Нанте Ж.-Б. Каррье.*

Главные силы вандейцев были разгромлены в декабре 1793 г. при Ле Мане, и только после этого в январе 1794 г. карательные отряды (так называемые «адские колонны») генерала Л.М. Тюрро вторглись в уже беззащитную Вандею для массового истребления ее жителей. Печально знаменитый декрет от 22 прериаля II года Республики (10 июня 1794 г.), положивший начало наиболее интенсивному или «Великому» террору, и вовсе был принят в тот момент, когда французские армии вели успешное наступление по всем фронтам на территории неприятеля. «Станем ли мы утверждать, – резюмировал Кине, – что в нашей системе следствие предшествует причине? Нам придется это сделать, если мы по-прежнему будем утверждать, что Террор был необходим для обеспечения республиканских побед, которые ему предшествовали».

При введении Конвентом той или иной меры, направленной на ужесточение Террора, ее инициаторы практически никогда не мотивировали свое предложение угрозавшей Республике военной опасностью, а всегда ссылались на некие внутренние заговоры против Революции. Иначе говоря, сами

творцы Террора отнюдь не считали его вынужденным ответом на исключительные обстоятельства военного времени, а вспомнили о последних, только когда пришла пора отвечать за свои действия. Что же касается «врагов внутренних», то, как известно, наибольшего размаха Террор достиг летом 1794 г., когда не только какое-либо открытое сопротивление, но даже самая умеренная политическая оппозиция революционному правительству были сведены на нет.

Одним словом, стремление объяснить Террор «мотивом обстоятельств» противоречит и фактам, и хронологии.

Также вскоре после Термидора впервые прозвучал и «социальный мотив», а именно мнение, что возглавлявшие революционное правительство в период Террора робеспьеристы, проводя репрессивную политику, защищали интересы определенного общественного слоя. Уже в январе 1795 г. Г. Бабёф в напущевшем памфлете «О системе уничтожения населения» заявил, что Робеспьер и его «партия» следовали тщательно разработанному плану перераспределения имуществ в пользу бедняков, для чего занимались массовым истреблением крупных собственников. Впрочем, далее автор выдвинул гипотезу о намерении робеспьеристов уничтожить также часть самих бедняков, дабы освободить страну от избыточного населения. Разумеется, подобная трактовка событий была продиктована в значительной степени конъюнктурными соображениями: в те месяцы Бабёф, только что вышедший из тюрьмы благодаря Термидору, выступал одним из наиболее ярких критиков свергнутой власти и с гордостью носил титул «Аттилы робеспьеризма». В дальнейшем же, когда Бабёф встал во главе коммунистического «заговора равных» и сменил отрицательное отношение к Робеспьеру на апологетическое, он отказался от последней гипотезы, сохранив до конца жизни уверенность в том, что «Неподкупный» и его окружение, проводя политику Террора, руководствовались заботой о неимущей части общества и стремились к установлению «подлинного равенства».

Такая интерпретация Террора получила развитие в сочинении Ф. Буонарроти «Заговор во имя равенства» (1828). Бывший сподвижник Робеспьера, а затем Бабёфа, Буонарроти называл сторонников Неподкупного «друзьями равенства» и утверждал, что их доктрина предполагала установление «справедливого» общественного строя путем перераспределения собственности в пользу неимущих. По мнению Буонарроти, Террор был прежде всего средством реализации социально-экономической программы революционного правительства: «Мудрость, с какой оно подготовило новый порядок распределения имуществ и обязанностей, не может ускользнуть от взоров здравомыслящих людей (...)». В конфискации имущества осужденных контрреволюционеров они усмотрят не фискальное мероприятие, а обширный план реформатора».

Тот же самый «социальный мотив», но с несколько иными интонациями встречается и в «Истории Национального конвента», написанной в конце 90-х годов XVIII в. одним из бывших лидеров «равнины» в Конвенте, а затем активным термидорианцем П.Т. Дюраном де Майяном. Он называл Робеспьера «народным диктатором (...) возвысившимся благодаря расположению к нему черни». По мнению этого автора, Робеспьер и его сторонники хотели,



чтобы «наказание богатых врагов революции обернулось выгодой для бедных патриотов». Правда, в отличие от Бабёфа и Буонарроти, Дюран относился к подобным устремлениям крайне отрицательно.

В XIX в. мысль о том, что робеспьеристская политика периода Террора выражала интересы «народа» («низов», «малоимущих») прочно вошла в социалистическую историографию. В несколько абстрактном виде эта идея пронизывала всю многотомную «Историю Французской революции» (1847–1862) Л. Блана. «Партия» Робеспьера, полагал он, стремилась «оказать покровительство слабым, прокормить бедняков, спасти несчастных не только от угнетения, но и от заброшенности». Впрочем, «социальный мотив» у Блана тесно переплетался и с «мотивом обстоятельств»: историк пытался отделить политику революционного правительства эпохи Террора от собственно террора, каковой считал вынужденным ответом на текущую ситуацию: «нет, нет, правление террора вовсе не было продуктом системы; оно вышло во всеоружии и роковым образом из самого положения дел».

Ж. Жорес, говоря о политике робеспьеристов периода Террора, также делал упор на ее социальном содержании. «Это – политика террора с оттенком социализма», – писал он о предложенных Сен-Жюстом вантозских декретах\*. Впрочем, Жорес признавал, что вопрос о том, насколько политическое поведение робеспьеристов было продиктовано их экономической концепцией, ему «еще не достаточно ясен». Поэтому он тоже широко сочетал «социальный мотив» с «мотивом обстоятельств», объясняя террор, помимо прочего, революционной необходимостью.

Сомнения Жореса постарался разрешить другой французский историк, считавший себя его учеником, А. Матьез, многие годы посвятивший изучению биографии и политической деятельности Робеспьера. Результатом его исследований стал вывод: политика робеспьеристов в 1794 г. была направлена на реализацию определенного социального идеала, каковой, по мнению Матьеза, заключался в том, чтобы «при помощи террора перераспределить собственность в пользу бедных классов, уменьшить в конечном счете неравенство состояний и создать из разных слоев обеспеченную санкюлотерию, которая была бы защитой и опорой республики». Матьез считал террор необходимым условием и средством проведения этой линии, а одну из своих важнейших концептуальных статей так и назвал: «Террор – инструмент социальной политики робеспьеристов». После изысканий этого историка оказалось весьма непросто отрицать идеологическую подоплеку в политике «партии», игравшей ведущую роль в правительстве эпохи Террора. Однако по-прежнему оставался открытым вопрос: интересам какого именно социального слоя отвечала эта политика? Так же как и его предшественники, Матьез предлагал здесь весьма неопределенный ответ, говоря о «неимущих» или «малоимущих».

С развитием марксистского направления историографии Французской революции на смену этим расплывчатым и относительно гибким определениям пришли жесткие дефиниции, заимствованные из марксистской

---

\* «Вантозские декреты» – декреты Конвента от 26 февраля и 3 марта 1794 г. (по революционному календарю – 8 и 13 вантоза II года Республики), которые предусматривали наделение неимущих земель, конфискованной у «врагов народа».

социологии. Отныне «социальный мотив» приобрел звучание «классового». Г. Кунов в Германии, Н.М. Лукин и его ученики в СССР объявили робеспьеристов выразителями интересов «мелкой буржуазии» города и села. Именно такой подход в той или иной форме доминировал в советской историографии практически до 80-х годов XX в. Предложенная А.З. Манфредом и получившая тогда широкую известность концепция «якобинского блока» являла собою лишь несколько модернизированную версию точки зрения Лукина. Сторонники подобной интерпретации немало сделали для выявления «антибуржуазной» направленности робеспьеристской политики.

Вместе с тем с конца 40-х годов в марксистской историографии существовала и другая вариация «социального мотива». Во Франции сначала Д. Герен, затем А. Собуль, а в Советском Союзе В.Г. Ревуненков отстаивали мнение о том, что политическая линия, проводившаяся робеспьеристами в период Террора, не только не отвечала интересам городских «низов», но и прямо противоречила им. Соответственно указанные авторы определяли ее (с теми или иными нюансами) как «буржуазную».

Особой точки зрения придерживался историк-марксист Ж. Лефевр, изучавший аграрную историю Революции. Он пришел к выводу, что политика робеспьеристов, центральным стержнем которой был террор, не отвечала чаяниям ни одной из социальных групп французской деревни.

Таким образом, попытка объяснить «социальным мотивом» действия революционного правительства периода Террора дала весьма любопытные результаты, правда, скорее негативного порядка. Сторонникам «социальных» трактовок удалось гораздо более убедительно показать, чьим интересам политика Робеспьера и его сторонников *противоречила*, нежели то, чьим интересам она *отвечала*.

Если говорить, например, о торговцах и предпринимателях, то робеспьеристы в отличие от ультралевых не были противниками этих социальных групп как таковых. Конечно, близость людей подобных профессий к богатству, источнику пороков (Сен-Жюст: «богатство – позор»), вызывала в отношении к ним некоторую настороженность. Тем не менее лидеры робеспьеристов никогда не порицали коммерсантов вообще, хотя в публичных выступлениях Робеспьера, Сен-Жюста и Кутона можно найти немало резких слов о спекулянтах, скупщиках и недобросовестных поставщиках, т.е. о предпринимателях, *нарушавших закон*. Составленный Сен-Жюстом по поручению Конвента план совершенного устройства общества, известный в историографии как «Республиканские установления», предполагал существование при идеальном строе и негоциантов, и промышленников.

Согласившись под давлением плебса на введение в сентябре 1793 г. всеобщего «максимума» – законодательного ограничения цен и заработной платы, робеспьеристы в дальнейшем не раз его порицали, подчеркивая, что являются противниками государственного вмешательства в экономику. Они считали, что установление норм «естественной морали», в каковом видели свою главную цель, само по себе должно гарантировать «справедливое» распределение материальных благ. Истинный республиканец непременно захочет избавиться от излишков, потратив их на общественные нужды. Вот как это выглядело в представлении Робеспьера: «Патриоты чисты; если же судьба наделила их дарами, которые добродетель презирает, а жадность уважает,

они и не думают скрывать их. Они стремятся использовать их благородным образом».

Применительно к коммерсантам данный принцип фактически означал требование отказаться от прибыли в пользу общества. Однако большинство предпринимателей вовсе не были готовы к этому и не спешили следовать требованиям «естественной морали», что, в свою очередь, трактовалось робеспьеристами как «нравственная испорченность» и соответственно «контрреволюционность», подлежащая искоренению средствами террора.

Что касается городского плебса, которого не могло «развратить» богатство по причине отсутствия такового, то и его политические требования шли вразрез с робеспьеристскими представлениями о добродетели. Будучи противниками непосредственного вмешательства государства в экономику, робеспьеристы крайне негативно относились к требованиям плебса усилить регулирование торговли, находившим отражение в лозунгах ультралевых. Движение «бешеных», секционные общества, эбертистская Коммуна были поочередно разгромлены сторонниками Робеспьера. Высказываясь с симпатией о «неимущих патриотах», о тех, кто носит «почетную одежду бедности», робеспьеристы рассматривали любое стремление «низов» к материальному благосостоянию как проявление алчности и результат пагубного влияния врагов революции. Так, когда парижские портовые рабочие потребовали повысить им жалование, командующий национальной гвардией Парижа Ф. Анрио, близкий к робеспьеристам, в своем приказе сурово осудил их за то, что они не хотят «переносить лишения, столь привычные для бедных санкюлотов-демократов».

Еще меньше окружение Робеспьера и он сам были осведомлены о подлинных чаяниях крестьянства. Это проявлялось даже в языке их выступлений. Мыслители века Просвещения и законодатели эпохи Революции, действительно интересовавшиеся аграрными проблемами, обсуждали их, используя специфическую конкретную терминологию. Так, вместо обобщающего и потому излишне абстрактного понятия «крестьяне» (peasants) применялись термины, обозначающие те социальные группы, на которые реально делилось население французской деревни: «арендаторы» (fermiers), «пахари» (laboureurs), «земледельцы» (cultivateurs), «работники» (manouvriers), «поденщики» (journaliers) и т.д. Однако тщетно было бы искать аналогичные понятия в выступлениях робеспьеристов. Сторонники «Неподкупного» с неизменной симпатией отзывались о тех, «кто возделывает землю собственными руками», но никогда не опускались в своих речах с уровня философской абстракции до рассмотрения конкретных проблем деревни. И даже знаменитые вантозские декреты, рассматривавшиеся многими историками как вершина социальной политики робеспьеристов, были составлены в столь абстрактных категориях морали, что оказались неприменимыми на практике.

Таким образом, результаты исследований, проведенных к настоящему времени сторонниками различных вариаций «социального мотива», пока не позволяют утверждать, что политика робеспьеристов, возглавлявших в период Террора революционное правительство, выражала интересы какого-либо из более или менее значимых слоев французского общества.

Третий из названных мотивов, мотив утопии, также впервые был предложен еще современниками Революции. Пожалуй, наиболее ярко он представлен в знаменитом докладе Комиссии по изучению найденных у Робеспьера и его сторонников бумаг, который зачитал в Конвенте 16 нивоза III года (5 января 1795 г.) депутат Э.Б. Куртуа. По убеждению автора доклада, трагедия Террора стала результатом грубого нарушения естественного хода вещей, в соответствии с которым до того времени развивалась революция: «Всемирный разум... что приводит в движение миры и обеспечивает их гармонию, был подменен разумом одной партии... Революция, которую считали более или менее постепенным переходом от зла к благу, была отныне уподоблена лишь удару молнии».

Причину столь фатального развития событий, прервавшего естественный ход эволюции общества, автор доклада видел в желании робеспьеристов провести в жизнь путем жесточайшего государственного принуждения умозрительно созданный ими план социального устройства, совершенно не учитывавший реального положения дел. Так, Куртуа говорил о Сен-Жюсте: «Повеса двадцати шести лет, едва стряхнув с себя школьную пыль и раздуваясь от гордости за свои куцые знания, прочел книгу одного великого человека (Монтескье), в которой ничего не понял, кроме того, что роскошь, дитя искусств и торговли, портит народ. Еще он вычитал, что другой великий человек (Ликург), коего он понял и того меньше, воспитал народ храбрецов на пространстве в несколько тысяч стадий. Тут же наш незадачливый подражатель античности, не изучив ни местных особенностей, ни нравов, ни состава населения и применяя принципы, которые вообще неприменимы на практике, заявил нам здесь тоном, полным самодовольства, которое было бы смешно, если бы не было столь ужасно: “Мы обещаем вам не счастье Персеполиса, а счастье Спарты”».

Такая интерпретация (независимо от намерений Куртуа) перекликалась со взглядами авторов консервативного направления, в частности Э. Бёрка. Еще в юности, пришедшейся на середину века, Бёрк критиковал английских и французских просветителей за то, что они полагали возможным разработать умозрительным путем схему идеального общественного строя, лишённого противоречий. Неудивительно, что Французская революция, в которой многие современники (по крайней мере на ранней ее стадии) видели триумф идей Просвещения, была воспринята им как попытка осуществления этих абстрактных систем на практике. Уже в «Размышлениях о революции во Франции» Бёрк осудил происшедшее по другую сторону Ла-Манша как насилие над исторически сформировавшимся и вполне жизнеспособным общественным организмом во имя торжества мертворожденной абстракции. В период же Террора, по его мнению, пропасть между реальностью и тем абстрактным идеалом, к которому они пытались привести нацию, оказалась как никогда широка: «Эти философы – фанатики, не связанные с какими-либо реальными интересами, кои уже сами по себе могли бы сделать их гораздо более гибкими; они с таким тупым остервенением проводят безрассудные эксперименты, что готовы принести в жертву все человечество ради успеха даже самого незначительного из своих опытов».

Весьма похожее объяснение феномену Террора предложила и А.Л.Ж. де Сталь, участница революционных событий и автор одной из первых исто-

рических работ о них, написанной в 1816–1817 гг. Эпоха Террора, по ее утверждению, была отмечена беспрецедентным господством политического фанатизма: «Земные страсти всегда примешиваются к религиозному фанатизму, но часто бывает и наоборот: искренняя вера в некоторые абстрактные идеи питает политический фанатизм».

Машина террора, сложившаяся в значительной степени стихийно, в период революционного правления, по мнению этого автора, приводилась в действие пружиной идеологии. Большинство политиков, считала де Сталь, выступали в роли статистов, поскольку их индивидуальные действия не оказывали практически никакого влияния на ход событий: «Политические догмы, если такое название может быть использовано по отношению к подобным заблуждениям, царили в то время, но уж никак не люди». И все же, полагала она, существовал один человек, олицетворявший собой господство идеологии, породившей массовый террор. Им был Робеспьер. По словам мадам де Сталь, именно непоколебимая приверженность Робеспьера совершенно абсурдным и неосуществимым на практике идеям позволила ему сыграть ведущую политическую роль в эпоху Террора.

Позднее «мотив утопии» также находил отзвук в воспоминаниях о революции ее участников. Уже упоминавшийся выше Левассёр, хотя и не скрывал своих симпатий к робеспьеристам и старался по возможности реабилитировать их перед потомством, тем не менее отмечал в своих мемуарах, что политика этой «партии» строилась в соответствии с теоретическими принципами, едва ли осуществимыми на практике. Причем верность робеспьеристов своей доктрине доходила, по словам Левассёра, до фанатизма: «Робеспьер и Сен-Жюст в применении своих теорий не останавливались ни перед чем; оспаривать их идеи значило объявить себя их личным врагом, а это могло закончиться только смертью».

В конце XIX – начале XX в. «мотив утопии» звучал преимущественно в трудах историков консервативного направления. Так, И. Тэн считал Робеспьера олицетворением режима Террора, ибо этот политик являл собою законченный тип догматика и утописта. Именно Робеспьер дал наиболее развернутое обоснование революционного террора абстрактными принципами «республиканской морали»: «Согласно его толкованию, теория делит французов на две категории: с одной стороны – аристократы, фанатики, эгоисты, нравственно испорченные люди, словом, дурные граждане; с другой стороны – патриоты, философы, люди добродетельные, иначе говоря, члены секты. Благодаря такому разграничению, весь необъятный мир моральных и общественных отношений, к которому оно применяется, оказывается определен, описан и выражен одной единственной антитезой. И задача государственной власти становится более чем очевидна: нужно подчинить злых добрым или, что еще проще, уничтожить злых...»

Революционное правление воспринималось Тэном как власть приверженцев абстрактной рационалистической идеологии, пытавшихся перекроить по ее меркам исторически сложившуюся социальную реальность. С подобной интерпретацией некоторым образом перекликалась и выдвинутая О. Кошеном идея о том, что в период Террора якобинское меньшинство пыталось навязать соотечественникам абстрактные ценности выдуманного философами идеального общества.

Мысль о присутствии в политике революционных властей, особенно в якобинский период, ярко выраженной тенденции к практической реализации некоего умозрительного идеала, утопии, неоднократно встречается в работах французского историка так называемого «критического» направления Ф. Фюре. В своем труде «Революция: от Тюрго до Жюлья Ферри. 1770–1880» (1988) он утверждал, что политика монтаньяров в значительной степени определялась идеологическими догмами, абстракциями, лишенными реально-го содержания. Следствием этого было превращение с конца 1793 г. террора в целенаправленно применяемое государством средство перехода к совершенному состоянию общества посредством «очищения» нации от морально несовершенных индивидов. Главным идеологом такой программы Фюре признавал Робеспьера, который в своих речах доказывал «неизбежность обновления людей через добродетель, через установление Республики истинных граждан. Но это воспитание нации в 1794 г. осуществлялось посредством террора, не ограниченного писанными законами и имевшего целью выполнение моральной миссии – разделить “добрых” и “злых”». В своем стремлении реализовать «утопию социальной гармонии, соответствующую требованиям природы», робеспьеристы не могли рассчитывать на поддержку сколько-нибудь значительной части общества и опирались исключительно на репрессивный аппарат, на «террористическую бюрократию, управлявшую при помощи арестов и устрашения».

Итак, «мотив утопии» в различных вариациях звучал на протяжении всего существования историографии Французской революции и продолжает звучать до сих пор. И это не удивительно: он находит подтверждение в фактическом материале.

Когда в июне–июле 1793 г. триумвират единомышленников – М. Робеспьер, Л.А. Сен-Жюст, Ж. Кутон – вошел в Комитет общественного спасения, ни у кого из них, даже у Робеспьера, признанного лидера «партии», имевшего наибольший опыт государственной деятельности в национальном масштабе, еще не было ясного представления о том общественном строе, который должен появиться в результате революции. С самого начала революционных событий Робеспьер играл в них весьма заметную роль, однако она носила отнюдь не созидательный, а скорее разрушительный характер. Будучи еще членом Учредительного собрания, он охотно и весьма резко порицал как реалии Старого порядка, так и усилия либеральных депутатов их изменить. Сам же участия в законодательной работе комитетов упорно избегал, не желая брать на себя ответственности за какие-либо позитивные меры. Присвоенная им функция бескомпромиссно критиковать от имени народа все и вся принесла Робеспьеру широкую популярность и прозвище Неподкупного.

Сторонники «концепции обстоятельств» отчасти правы в том, что первые месяцы пребывания у власти политика робеспьеристов, как и всего революционного правительства, определялась не далеко идущими планами, а текущей ситуацией. Отвечая на требования парижского плебса, власти поставили террор «в порядок дня» и ввели всеобщий «максимум» на цены. Реагируя на усиление военной угрозы, Конвент наделил Комитет общественного спасения фактически диктаторскими полномочиями. Следствием этого во многом стихийного развития ситуации стало постепенное сосредоточение к концу 1793 г. основных рычагов власти в руках робеспьеристов. Очевидно, подоб-

ный поворот событий оказался в значительной степени неожиданным и для самой «партии», о чем некоторое время спустя Сен-Жюст скажет: «Сила вещей ведет нас, быть может, к результатам, о которых мы и не помышляли».

Хотя численно сподвижники Робеспьера составляли меньшинство и в Конвенте, и в правительственных комитетах, тем не менее отличавшая эту группу сплоченность, приверженность общим идеям и обладание ключевыми постами в репрессивном аппарате обеспечивали ей ведущую роль в революционном правительстве. «Только у партии Робеспьера имелись доктрины, связная система и организационная оформленность», – отмечал позднее Левассёр. Определяющее влияние робеспьеристов на правительственную политику обеспечивалось также поддержкой Якобинского клуба, где их авторитет был непререкаем и где в значительной степени формировалось общественное мнение не только столицы, но и всей страны. И наконец, нельзя не отметить высокую мобильность сторонников Неподкупного, часто выезжавших в провинции, чтобы там направлять ход событий в нужное для себя русло.

К концу 1793 г. пресс-сиюминутных обстоятельств заметно ослаб: армии Республики нанесли решающие поражения внешним и внутренним врагам. Обстановка несколько стабилизировалась. Именно тогда Робеспьер и его сторонники, обладая практически неограниченной властью, почувствовали, что имеют достаточно возможностей для осуществления своего социального идеала. Оставалось лишь конкретизировать содержание последнего. 14 декабря 1793 г. Сен-Жюст в письме из действующей армии попросил Робеспьера привлечь внимание якобинцев «к фундаментальным принципам общественного блага», дабы они позаботились о способах управления «свободным государством». О том же думал и сам Робеспьер. 25 декабря он объявил в Конвенте, что перед нацией стоит задача «прийти к торжеству принципов, на которых должно покоиться процветание общества». В программной речи 5 февраля 1794 г. он снова подчеркнул: «Настало время ясно определить цель революции и предел, к которому мы хотим прийти; настало время дать себе отчет (...) в средствах, которые мы должны принять, чтобы достичь его».

Выступления Робеспьера, Сен-Жюста и Кутона в Конвенте и Якобинском клубе дают достаточно подробное представление о том, каким виделось им идеальное общество. Кроме того, в распоряжении историков имеются фрагменты плана совершенного государственного устройства, который Сен-Жюст составлял по поручению Конвента и который по степени проработки деталей может соперничать с самыми подробными из утопий.

Робеспьеристы, считая своим учителем Руссо, подобно ему видели в морали универсальный регулятор социальных отношений и мечтали построить «царство добродетели». Все проблемы общества воспринимались ими прежде всего в этическом аспекте, а сама Революция представлялась кульминацией великого противоборства Добра и Зла, продолжающегося на протяжении всей истории человечества. «Порок и добродетель, – говорил Робеспьер, – составляют судьбу земли: это два противоположных духа, оспаривающих ее друг у друга... Революция, которая стремится установить добродетель, – это лишь переход от царства преступления к царству справедливости». Он и его последователи верили, что «душой республиканского строя» должны стать именно моральные добродетели и что соответствующее изменение нравов непременно приведет к усовершенствованию общества. Торжество «естест-

венной» морали должно было, по их мнению, решить все социальные проблемы. «Давайте же утвердим среди нас с помощью мудрости и морали мир и счастье! – призывал Робеспьер с трибуны Конвента. – Такова истинная цель наших трудов, такова самая героическая и самая сложная задача».

Набор добродетелей «истинного республиканца» был составлен робеспьеристами на основе идеализированных представлений об античных государствах Спарты и раннего Рима. Согласно этой абстрактной модели, совершенный гражданин не имеет «лишних» потребностей, аскетичен, не обременен избытком знаний, не знает жалости ни к себе, ни к врагам, презирует чувственные наслаждения и готов безоговорочно пожертвовать всеми своими личными интересами во имя общественных. «Все, что сосредотачивается в гнусном слове “личное”, возбуждает пристрастие к мелким делам и презрение к крупным, должно быть отброшено или подавлено вами», – учил соотечественников Робеспьер. О том же говорил и Кутон: «Сколь безрассудны люди! Что нужно им для жизни и счастья? Несколько унций пищи в день, радость творить добро и сознание того, что совесть чиста – вот и все».

Но кто мог соответствовать подобным требованиям? Чьим интересам отвечал робеспьеристский проект идеального общества? При рассмотрении проблемы на уровне абстракции ответ кажется очевидным: добродетель, по мнению сторонников Робеспьера, это врожденное качество бедного люда, тех, кто своим трудом кормит себя и семью. «Добродетели просты, скромны, бедны, часто невежественны, иногда грубы; они – удел несчастных и естественное достояние народа», – утверждал Неподкупный. Однако при решении конкретных проблем неизменно оказывалось, что едва ли не любое действие реального человека могло быть истолковано как нарушение абстрактных норм «естественной» морали. Ну а поскольку лейтмотивом политики робеспьеристов было повсеместное утверждение новых этических ценностей, то проступок в сфере нравственности приравнивался ими к контрреволюционному деянию. Робеспьер говорил: «В системе французской революции то, что является безнравственным и неблагоприятным, то, что является развращающим, – все это контрреволюционно. Слабость, пороки, предрассудки – это путь королевской власти».

Чем усерднее он и его сторонники пытались перенести свою утопию из заоблачного мира мечтаний на грешную землю, тем чаще реальные общественные отношения вступали в конфликт с умозрительным идеалом. Причину подобных противоречий робеспьеристы видели в «нравственной испорченности» некоторой части населения и в происках контрреволюции. Главным средством разрешения конфликта между Добродетелью и Пороком и соответственно построения совершенного общества робеспьеристы считали террор. Робеспьер говорил: «Если движущей силой народного правления в период мира должны быть добродетели, то движущей силой народного правления в революционный период должны быть одновременно и добродетель, и террор».

Чем активнее робеспьеристы насаждали свой социальный идеал, тем большим было пассивное сопротивление со стороны общества и тем сильнее они раскручивали маховик террора. Предлагая Конвенту принять репрессивный декрет от 22 прериаля, отменявший защиту подсудимых и прочие «ненужные» Революционному трибуналу формальности, Кутон объяснял



эту беспрецедентную меру необходимостью очистить Республику от людей, не способных жить в «царстве добродетели»: «Задержка в наказании врагов отечества не должна превышать времени, необходимого для установления их личности. Речь идет не столько о том, чтобы наказать их, сколько о том, чтобы уничтожить».

Определения «враги отечества», «враги народа» обозначали не только политических противников, но имели гораздо более широкое толкование. Закон от 22 прериаля легализовал и ранее имевшую место практику привлечения к ответственности за «моральные преступления». «Врагами народа», подлежащими смертной казни, объявлялись, в частности, те, кто «пытается ввести народ в заблуждение и препятствовать его просвещению, испортить нравы и развратить общественное сознание, повредить энергии и чистоте революционных и республиканских принципов».

Предпринятые робеспьеристами меры по осуществлению утопии фактически означали войну государства, возглавляемого фанатичными приверженцами «естественной» морали, против общества. Война эта продолжалась до тех пор, пока «революция 9-го термидора» не положила начало постепенному возвращению из мира утопии на твердую почву реальности.

Хотя обращение к «мотиву утопии» дает возможность достаточно убедительно интерпретировать политику робеспьеристов, возглавлявших революционное правительство, этот мотив не является универсальным ключом к решению проблемы Террора в целом, ибо последний к деятельности этой «партии» отнюдь не сводится. Сторонники Неподкупного лишь в определенный момент воспользовались для реализации своего социального идеала уже сложившимся репрессивным аппаратом и той практикой уничтожения несогласных с политикой революционных властей, которая применялась к тому времени не один месяц.

Для объяснения же процесса зарождения и становления политики Террора «мотив утопии» мало что дает. В ее формирование внесли свой вклад не только сподвижники Неподкупного, хотя их роль тут переоценить невозможно, но и другие революционные группировки, которые, хотя и конкурировали с ними, но не имели столь же четко сформулированного социального идеала. Массовые казни в Лионе и утопления в Нанте происходили еще до того, как робеспьеристы заговорили о построении в ближайшем будущем «царства добродетели», а главными действующими лицами там выступали Колло д'Эрбуа, Фуше и Каррье – представители соперничавшего с робеспьеристами ультралевое крыло революционеров.

Однако какой-либо универсальной и тем более общепризнанной трактовки Террора, свободной от вышеперечисленных недостатков, исследователи пока не предложили. До сих пор данный сюжет является одним из наиболее дискуссионных в историографии Французской революции.

Новый виток споров о нем начался с выходом в 2000 г. книги французского историка П. Генифе «Политика революционного террора 1789–1794 гг.». Автор предпринял попытку исследовать указанный феномен в контексте истории политической культуры с применением методов, привнесенных в историографию «лингвистическим поворотом» конца XX в. Рассматривая политику как «деятельность, посредством которой индивиды и группы фор-

мулируют, согласовывают, применяют и заставляют уважать взаимные претензии и требования, предъявляемые друг другу и всем вместе», а политическую культуру как «совокупность дискурсов или символических практик, через которые эти требования выражаются», Генифе показывает, что во время революции вместе со старой властью рушится и общественный консенсус относительно норм, определявших в обычное время содержание политического дискурса. В результате с началом революции происходит стремительное и бесконтрольное распространение новых дискурсов, конкурирующих друг с другом по своей радикальности. Иными словами, чтобы удержаться на гребне революционной волны и выглядеть в глазах общественного мнения выразителями революционной легитимности, отдельные политики и политические группы соревнуются между собой в радикальности выдвигаемых требований.

В такой постоянно нараставшей радикализации дискурсов и политики собственно и состояла, по мнению Генифе, динамика Революции, «признающей легитимность лишь за самыми радикальными из своих действующих лиц». Подобная динамика, считает Генифе, характерна для любой революции, однако довести радикализацию до самой крайней степени она может лишь при одновременном совпадении ряда благоприятствующих этому факторов: «а именно – когда расхождение в целях враждующих группировок оказывается настолько глубоким, что исключает любые компромиссы; когда расторжение общественного договора возвращает противников и конкурентов в своего рода естественное состояние, где сила замещает право; когда, наконец, затянувшееся отсутствие власти открывает неожиданную возможность для возвышения даже самым маргинальным политическим течениям». Совпадение всех этих факторов, по мнению Генифе, имело место во Франции конца XVIII в., в результате чего революционная динамика и привела к возникновению Террора.

Предложенная Генифе интерпретация истоков Террора стимулировала дальнейшую историографическую дискуссию, о результатах которой судить пока рано. Споры историков Французской революции о феномене Террора продолжаются...

## РЕВОЛЮЦИЯ И КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ

На первый взгляд оба эти понятия кажутся совершенно ясными и однозначными, особенно если учесть то наполнение, которое они приобрели в XX в., в частности в нашей стране. Однако для Франции XVIII столетия это было отнюдь не так. Прежде всего термин «революция» изначально употреблялся в абсолютно ином значении, восходящем к латинскому глаголу «*volvere*» («катить», «вращать», «кружить»). На протяжении долгого времени под словом «революция» по большей части понимали движение, которое приводит к возврату в некую исходную точку; так говорили о перемещении планет по своим орбитам, о выздоровлении после болезни. Иначе говоря, в этом термине не были заложены ни политический подтекст, ни связь с насилием. Он означал лишь «возвращение на круги своя», подчиняющееся неким заранее установленным (скорее богом, нежели людьми) законам. Именно так воспринимали Славную революцию (вопреки деспотическим устремлениям монархов Англия нашла в себе силы вернуться к старым добрым законам и традициям) и, что может показаться еще более парадоксальным, Американскую революцию (как возвращение к незабытым колонистами исконным английским свободам).

Развитие данного понятия шло во Франции параллельно с двумя другими, имеющими тот же корень. Примерно с XVI в. применительно к перемещению пехоты начинают употреблять слово «эволюция», несколько позже термин распространяется на маневры кавалерии и флота. В XVII в. из английского языка заимствуются и другие его значения: «ход событий», «этапы, которые проходит живой организм на пути взросления». Некоторые историки полагают, что в XVIII в. во Франции именно в биологии активно употребляли слова «эволюция» (медленное изменение живых организмов) и «революции» (изменения быстрые). Одновременно термин «революция» проник и в общественно-политическую сферу. Здесь его развитие происходит параллельно с еще одним однокоренным заимствованным понятием, «*révolte*», которое в течение XVI–XVIII вв. эволюционирует от «резкой перемены» (политических симпатий или веры) к более привычному для нас сегодня значению «бунт, восстание». Так под «революцией» стали понимать «государственный переворот», «быструю смену существующего образа правления», именно по этой линии она противопоставлялась реформам. И все же почти до самого конца XVIII в. «революция» могла трактоваться и как «возвращение к былой гармонии», в минувший «золотой век».

В любом случае словом «революция» обозначали изменения не просто резкие, но и достаточно масштабные. Хорошо известен исторический анекдот: узнав о взятии Бастилии, герцог Ф.А. де Лианкур сообщил о нем Людовику XVI и в ответ на робкий вопрос короля: «Так что, это бунт?», будто бы ответил, выбирая слово, которое должно было подчеркнуть всю значимость происходящего: «Нет, сир, это революция!» Трудно сказать, действительно ли такой разговор имел место, но для понимания современниками термина «революция» этот анекдот весьма показателен.

Уточнение семантики этого слова тесно связано с вопросом о том, когда же «в действительности» началась и когда закончилась Французская рево-

люция – если, конечно, предположить, что у столь масштабных событий в принципе возможно определить четкие хронологические рамки. Общепризнанной датой начала революции, как известно, считается 14 июля 1789 г., однако с не меньшими основаниями на эту честь могли бы претендовать другие даты – 17 июня, когда часть депутатов Генеральных штатов объявила себя Национальным собранием, или 7 июля, когда оно преобразовало себя в собрание Учредительное. По крайней мере провозглашение суверенитета нации, неповиновение королевской воле и первый шаг к отмене сословий видятся значительно более принципиальными и даже не менее символическими событиями, нежели штурм крепости, которую и без того собирались снести, поскольку ее было слишком дорого содержать.

Попытки определить, когда же закончилась Французская революция, влекут за собой не менее серьезные проблемы. Ведь если исходить из этимологии самого слова, ее финалом должен был стать момент, когда потрясения остались позади и установилась некая новая форма власти, а на смену изменениям пришла стабильность. Но при такой постановке вопроса неожиданно оказываются правы те французские историки, которые утверждают, что революция не завершилась до сих пор. И в самом деле, в каком году во Франции воцарилась стабильность? Очевидно, не в 1794-м, хотя на протяжении десятилетий многие историки датировали окончание революции именно термидорианским переворотом. И после 1794 г. продолжал действовать режим революционного правления, у руля по-прежнему находился Конвент, объединявший в своих руках и исполнительную, и законодательную власть, а европейские монархии все еще надеялись победить Францию силой оружия. Сегодня чаще называют 1799 год – год бонапартистского переворота, но и эта дата кажется не бесспорной: перспективы наполеоновского режима были тогда весьма туманны, радикальные преобразования шли полным ходом. В 1804 г. была установлена империя и принят Гражданский кодекс, но можно ли всерьез говорить о стабильности в условиях продолжающихся войн со всей Европой, в которых в итоге Франция потерпела поражение? Некоторые историки считают, что стабилизация наступила к 1814–1815 гг., однако не показала ли Июльская революция 1830 г., что прочный общественный компромисс тогда так и не был достигнут?

Одной из главных причин того, что споры о хронологических рамках Французской революции (равно как о ее предпосылках и итогах) едва ли имеют шанс когда-либо завершиться, служит высокая степень абстрактности самого понятия «революция». Не существует согласия даже по поводу того, представляет ли собой революция некое целостное явление или же это разнородная череда событий (синхронных или асинхронных). Да и попытка привести взгляды и деятельность вершивших революцию группировок к какому-то единому знаменателю, помимо более или менее полного отторжения Старого порядка (что бы они под ним ни понимали), изначально оказывается обречена на провал: «революционеры» могли быть монархистами и республиканцами, католиками и атеистами, защитниками собственности и сторонниками ее отмены, выходцами из любого сословия и любого социального слоя.

Однако как в 1789–1799 гг. политические группировки, делавшие ставку на благосклонность французского народа, неизбежно ассоциировали себя с революцией (одни предлагали продвигать ее «вперед», другие – завершить,

сохранив ее завоевания), так и в XIX в. левые партии и движения постоянно искали своих предшественников в рядах революционеров. В 1848 г. вновь распевали «Марсельезу», сажали «деревья свободы», вернули в обиход обращение «гражданин». Каждая партия могла найти во Французской революции конца XVIII в. объекты для поклонения и подражания по своему вкусу – и это, безусловно, укореняло революционную традицию, делало ее привычной, создавало общие стереотипы. Но одновременно закреплялся и раскол французского общества, в том числе и в символическом плане. Даже в условиях сменявших друг друга монархических режимов республиканцы не находили в себе сил, чтобы объединиться, оставаясь разделенными на «красных» (использовавших красное знамя, поклонников якобинцев) и «трехцветных» (поднимавших трехцветное знамя, либералов). В силу этого со времени падения Второй империи и до наших дней правительства традиционно стремились положить конец данному символическому противостоянию, представить революцию (и революционеров) единым целым. Как сказал в 1891 г. будущий премьер-министр Франции Ж. Клемансо: «Революция – это блок, от которого ничего нельзя отнять».

Тем самым на государственном уровне проблема трактовки революции была решена. Однако в науке почва для дискуссии сохранялась. Чрезвычайное разнообразие политических и экономических интересов различных деятелей, группировок и социальных слоев, участвовавших в революции, относительная асинхронность их действий, множество форм и методов борьбы заставляло многие поколения исследователей задаваться одним и тем же вопросом: можно ли в принципе говорить о единой Французской революции, или же она стала итогом нескольких разнонаправленных «революций», не согласованных ни во времени, ни в пространстве? Так, к примеру, в 20–30-е годы XX в. Ж. Лефевр поставил проблему существования отдельной «крестьянской революции» – со своими целями и задачами, часто противоположными или по крайней мере мало сопрягающимися с теми, которые выходили на первый план в Париже или других городах. Эти идеи вызвали оживленное обсуждение, однако так и не смогли стать преобладающими.

Значительно чаще имели место попытки разбить Французскую революцию на несколько самостоятельных «революций» не по социальному, а по сугубо хронологическому принципу. Действительно, между людьми, стремившимися ограничить власть Людовика XVI в 1789 г., и теми, кто голосовал за его казнь в январе 1793 г., общего весьма немного; либеральные дворяне времен выборов в Генеральные штаты едва ли нашли бы общий язык с санкюлотами эпохи диктатуры монтаньяров (не говоря уже о том, что последние приложили немало усилий для физического уничтожения первых). Не случайно современникам казалось, что каждую новую политическую группировку приводит к власти своя, отдельная революция. Так, в конце XVIII в. ораторы и памфлетисты говорили о «революции 14 июля», направленной против «королевского деспотизма»; «революции 10 августа», свергнувшей в 1792 г. монархию; «революции 31 мая», в ходе которой монтаньяры избавились от своих политических противников в Конвенте; «революции 9 термидора», положившей конец «тирании Робеспьера».

В измененном виде эту тенденцию унаследовала и историография, выдвинув идею последовательных, сменяющих друг друга «этапов» револю-

ции – со своей проблематикой, своими «движущими силами», своими свершениями и «завоеваниями». Формально это позволяло исходить из «единства и неделимости» революции, однако в реальности в зависимости от идеологического *credo* исследователей какой-то один «этап» неминуемо становился самым важным, а результаты остальных рассматривались либо как промежуточные, либо как отступление от революционных «завоеваний». Чаще всего объектами противопоставления становились «революция 1789 года» и «революция 1793 года». Еще в XIX в. консервативные французские историки не раз высказывались на тему о том, что попытка якобинцев реализовать на практике утопию оказалась бесплодной. Как писал И. Тэн, «покорившаяся революционному правительству Франция похожа на человеческое существо, которое заставляют ходить на голове и думать ногами». В середине XX в. на заре возникновения так называемого «критического» направления в историографии Французской революции его основоположники Ф. Фюре и Д. Рише сформулировали концепцию, при которой принципиальными для будущего Франции виделись те перемены, которые происходили в первые годы революции (провозглашение прав человека, отмена сословий, крушение Старого порядка и т.д.), а диктатура монтаньяров трактовалась ими как своего рода «занос» в сторону от магистрального пути. Порой у историков, мысливших сходным образом, можно было встретить и своеобразную реанимацию концепции Лефевра: среди трех революций, которые более или менее параллельно проводили горожане, крестьяне и либеральные дворяне вкупе с буржуа, наиболее плодотворной считалась последняя: именно она заложила основы для развития парламентаризма и капитализма, тогда как две другие ей в этом лишь мешали. Таким образом, на последующие поколения оказали влияние лишь события 1789–1792 и 1795–1799 гг., а без ужасов 1792–1794 гг. вполне можно было бы обойтись, избежав голода, ТERRORа, уничтожения культурного наследия, вакханалии плебса.

Противоположную позицию занимали историки-социалисты и марксисты. Еще Л. Блан в середине XIX в. считал, что Французская революция распадается на две: совершенную в 1789 г. во имя индивидуализма и в 1793 г. – во имя братства, плодотворную и неизбежную, хотя и оборвавшуюся 9 термидора (после чего наступила контрреволюция). Со временем под пером исследователей революция приобрела четко видимый вектор развития, различные ее этапы превратились в стадии, сменявшие друг друга во имя выполнения некоей предопределенной цели – так неожиданно в марксистской теории просло изначальное наполнение термина «революция». «За господством *конституционалистов*, – писал К. Маркс в работе “Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта”, – следует господство *жирондистов*, за господством *жирондистов* следует господство *якобинцев*. Каждая из этих партий опирается на более передовую. Как только данная партия продвинула революцию настолько, что уже не в состоянии ни следовать за ней, ни тем более возглавлять ее, – эту партию отстраняет и отправляет на гильотину стоящий за ней более смелый союзник. Революция движется, таким образом, по восходящей линии».

Эти концепции были развиты многими левыми французскими историками в конце XIX и на протяжении всего XX в. Вслед за Ж. Жоресом с его чеканной формулой: «Робеспьеризм – это демократия» они видели квинтэссенцию революции в диктатуре монтаньяров. То, что было до нее, тракто-

валось как своеобразный пролог к «главным» событиям революции. Тому, что случилось после, долго отказывали даже в праве считаться ее эпилогом. В полной мере эта концепция была унаследована и советскими историками: период 1794–1799 гг. долго трактовался ими как контрреволюция («9 термидора стало последним днем революции», подчеркивал А.З. Манфред) и лишь позднее был включен в хронологические рамки революции в качестве ее «нисходящей линии».

Вместе с тем все попытки поделить Французскую революцию на этапы отнюдь не исключали ее целостного восприятия. Уже с конца XVIII в. слово «революция» стало стремительно обретать в глазах французского общественного мнения важнейший символический смысл, обзавелось длинным шлейфом положительных коннотаций, начало ассоциироваться с «прогрессом», «свободой», «счастьем», «общественным благом», с исторической миссией французов. Оно превратилось в своеобразную точку отсчета, в ту грань, по одну сторону которой навсегда остался в прошлом Старый порядок, а по другую – рождался новый. Эта революция обладала глобальным характером. Она была предназначена для того, чтобы не только реформировать систему управления страной или исправить ее отдельные недостатки, она должна была разом решить все проблемы – экономического, политического, социального и морального плана, создать на месте Франции совершенно иную страну, изменить нравы французов. Однако и этого было мало: предполагалось, что революция принесет свободу не только Франции, но и всем народам мира, просветит их, подарит им счастье. «Патриотизм должен иметь лишь одну границу – вселенную!» – восклицал Дантон. Соответственно, окончанием революции становилось не просто принятие новой конституции, не смена политических бурь обретенной на новом уровне стабильностью. Как говорилось в одном из многочисленных «катехизисов», рассчитанных на то, чтобы донести революционные принципы до не слишком грамотного населения, «революция не должна иметь иного окончания, кроме как уничтожение тиранов и всех пороков – источников тирании».

Какой ценой должны произойти столь глобальные перемены становилось все менее важным. Если в начале июля 1789 г. Мирабо утверждал, что «эта великая революция обойдется без злодеяний и без слез», то во времена диктатуры монтаньяров проблема виделась уже совсем по-иному.

«Вы не должны больше щадить врагов нового порядка вещей; свобода должна победить какой угодно ценой, – призывал Сен-Жюст в докладе, посвященном введению революционного порядка управления. – Нельзя надеяться на благоденствие до тех пор, пока не погибнет последний враг свободы. Вы должны карать не только изменников, но и равнодушных; вы должны карать тех, кто остается бездеятельным в Республике и ничего не делает для нее. Ибо с тех пор как французский народ изъявил свою волю, всякий, кто противостоит ей, находится вне суверена, а тот, кто вне суверена, является его врагом».

Отрезвление пришло в Термидоре. Как с горечью напишет в то время один из публицистов, «революция, дух которой я столь люблю, уничтожила мою страну».

Восприятие революции как единого целого нередко приводило не только к ее абсолютизации, но и к антропоморфизации; она уподоблялась живому

существо, обладающему собственной логикой поступков. Хорошо известна приписываемая Дантону фраза: «Революция подобна Сатурну: она пожирает своих детей». Революция выбирала тот или иной путь, преподносила уроки и проявляла нерешительность. Воспринимая эту традицию, в своих трудах историки нередко пишут о том, что революция должна была сделать и что не должна (или не сумела), ставят перед ней те или иные задачи и придирчиво отмечают, с какими из них революция справилась, а с какими нет.

Таким образом, революция – как в глазах современников, так и под пером историков – превращалась в событие, с одной стороны, целостное и символическое, а с другой – противоречивое и аморфное. Неминуемо аналогичным образом выглядела и контрреволюция.

Первая сложность, которая возникает при попытке обрисовать ее очертания – чрезвычайно скромное количество исследований по сюжетам, связанным с сопротивлением революции. Доминирующая сегодня во Франции и за ее пределами историография в силу известных обстоятельств носит республиканский характер, зачастую открыто декларирует свою приверженность революционным ценностям. Ведущее научное общество, объединяющее в своих рядах историков этой эпохи, носит характерное название «Общества *робеспьеристских* исследований». В результате ни в одной стране не сложилось научной школы изучения контрреволюции, посвященные ей работы периферийны, а то и откровенно маргинальны. Их авторами зачастую становятся не имеющие исторического образования монархисты и журналисты, значительное количество книг носит развлекательный, в лучшем случае научно-популярный характер. Единственными сюжетами, более или менее активно разрабатываемыми во Франции профессиональными историками, стали история Вандеи (К. Птифрер, А. Жерар, Ж.К. Мартен) и шуанов (Р. Дюпюи и др.).

Вторая сложность, как и в случае с понятием «революция», носит преимущественно терминологический характер. Кого считать контрреволюционерами? Безусловных сторонников Старого порядка? Тех, кто оказывал вооруженное сопротивление революции? Отвергал ее ценности? Был убежденным роялистом? По мере радикализации революции многие активные ее участники, сыгравшие немалую роль в крушении Старого порядка и в превращении Франции в конституционную монархию, а затем и в республику, переходили в оппозицию, покидали страну, а то и платили жизнью за сопротивление находившимся у власти. Правоммерно ли считать контрреволюционером графа С. де Клермон-Тоннера, входившего в число тех депутатов Генеральных штатов от дворянства, которые первыми присоединились к третьему сословию, замечательного оратора, призывавшего в стенах Национального собрания к установлению конституционной монархии – но пытавшегося впоследствии спасти короля из революционного Парижа и убитого толпой 10 августа 1792 г.? Или одного из первых республиканцев, ставшего центром притяжения для «жирондистов», якобинца, депутата Законодательного собрания и Конвента Ж.П. Бриссо, осужденного и гильотинированного во время диктатуры монтаньяров?

В историографии обычно принято считать контрреволюционерами сторонников монархии, однако и здесь есть любопытный парадокс: хотя наиболее значительные перемены во Франции произошли в 1789–1791 гг., для



контрреволюции своеобразной точкой консенсуса становится август 1792 г., поскольку до того часть роялистов поддерживала введение конституции, а соответственно и развитие революции.

Еще большие сложности возникают при попытке анализа массовых «контрреволюционных» настроений. Является ли Вандейское восстание осознанным сопротивлением революции или реакцией на агрессивное поведение центральной власти, презревшей традиции сельской автономии? Служит ли фактическая победа роялистов на выборах в законодательный корпус в 1795 г. показателем того, что большинство избирателей того времени высказывались за реставрацию монархии? В попытке разрешить эти противоречия английский историк К. Лукас выдвинул ставший затем популярным в мировой историографии термин «антиреволюция», под которым начали понимать массовое недовольство революцией – разнородное, лишенное разработанной программы и плана действий, спонтанное, нередко направленное не против революции в целом, а против конкретных ее проявлений, затрагивающих те или иные слои населения и регионы. С точки зрения сторонников этой идеи «антиреволюция» в значительной степени отличается от «контрреволюции», проявлявшейся осознанно, характерной для образованных слоев общества, обладающей идейной программой, противостоящей революции в институциональном и идеологическом плане.

Подобное терминологическое разведение этих понятий действительно может способствовать анализу стоящих за ними феноменов. Но одновременно оно значительно усложняет понимание тех процессов, которые лежат в зоне их пересечения, поскольку затрудняет ответ на вопрос, может ли (и если «да», то в какой мере) «контрреволюция» опираться на «антиреволюцию»? И с другой стороны, почему революционеры столь жестко и непримиримо боролись с «антиреволюцией», тратили на эту борьбу столько сил и ресурсов вместо того, чтобы просто скорректировать свою политику?

Нам видится, что оба феномена все же не были столь далеки друг от друга, чтобы оправдать подобное противопоставление. Достаточно отметить, что один из лидеров вандейцев генерал Ф. Шаретт был назначен Людовиком XVIII главнокомандующим королевской армией и ему отводилась немалая роль в планах реставрации монархии; войска шуанов объединились с подразделениями эмигрантов во время их высадки на полуострове Киберон под руководством брата короля графа д'Артуа летом 1795 г.; а кажущиеся латентными «антиреволюционные» настроения едва не обеспечили приход роялистов к власти в стране парламентским путем в 1795–1799 гг.

Третьей проблемой при попытке очертить «контрреволюцию» становится невозможность опереться на терминологию и политический язык эпохи. Находившиеся у власти немедленно объявляли любые выступавшие против их политики силы «контрреволюционными». Но сделало ли «жирондистов» участие в мятеже против монтаньяров контрреволюционерами? На взгляд самих монтаньяров – безусловно. Исходя из целей и лозунгов «мятежников» – отнюдь нет: они выступали за республику, за признание совершенных в 1789–1792 гг. перемен. Напротив, после Термидора «контрреволюцией» начинают именовать восстание 31 мая – 2 июня, что опять же мало говорит о его истинных целях. Вне зависимости от их политической ориентации даже самые радикальные революционеры, такие как Робеспьер, Дантон, Эбер, об-

винялись современниками в желании восстановить монархию; даже кучера могли называть «аристократом», если его подозревали в симпатиях к королю. С другой стороны, в условиях все более усиливающегося надзора государства и многочисленных народных обществ за действиями и умами многие из тех, кто стремился положить конец революции и восстановить династию Бурбонов, не спешили публично заявлять о своих взглядах. Были ли роялисты в Конвенте? Безусловно. Однако за редким исключением историки испытывают большие затруднения с тем, чтобы уверенно назвать их поименно.

Не менее сложным оказывается вопрос и о признанных лидерах контрреволюционного движения. В соответствии с фундаментальными законами французской монархии король не имел права ни отречься от престола, ни избрать себе наследника. Обряд коронации считался крайне важным, однако в известном смысле он не был обязательным: наследник становился королем в момент смерти своего предшественника. Таким образом, до 21 января 1793 г., когда Людовик XVI взшел на эшафот, именно он должен был считаться законным государем и в силу этого символом, объединяющим противников революции. После смерти Людовика XVI корона переходила к его единственному оставшемуся в живых сыну – восьмилетнему Луи Шарлю, дофину, ставшему Людовиком XVII. Несмотря на то что королевская семья находилась к тому времени в тюрьме, по легенде Мария Антуанетта преклонила колени перед сыном и провозгласила, как это было принято: «Король умер! Да здравствует король!» Когда же в июне 1795 г. Национальный Конвент объявил о том, что Людовик Капет скончался, законным королем сделался его дядя, Луи Станислас Ксавье, граф Прованский, принявший имя Людовика XVIII.

Однако то, что было абсолютно однозначным с формальной точки зрения, не выдержало испытания практикой. Попытки совместить традиции с беспрецедентной политической ситуацией во Франции приводили к многочисленным дискуссиям и склокам, раскалывавшим единство противников революции, и определенная их консолидация наметилась лишь после 1795 г.

Поначалу основной проблемой стало то, что Людовик XVI уже с осени 1789 г. фактически превратился в заложника своих мятежных подданных. Под большинством основополагающих документов, постепенно разрушавших Старый порядок, в конце концов появлялась его подпись. Таким образом, противники революции оказывались вынужденными, защищая монархию, противопоставлять себя самому монарху. Вопрос о том, как относиться к государю, своими руками уничтожавшему тысячелетний фундамент, на который доселе опиралась династия, смущал многие умы. Усугубляло ситуацию и то, что к 1791 г. члены королевской семьи были лишены свободы передвижения – часть роялистов сомневалась в их дееспособности и заявляла, что государь вынужден руководствоваться не благом страны, а опасениями за свою жизнь.

Попытка создать в эмиграции второй центр власти также не удалась. Хотя младший брат короля, граф д'Артуа, быстро покинул страну, объединившись в Турине с влиятельными семействами Конде и Полиньяков, эмигрантам не хватало ни денег, ни политической воли: Людовик XVI отказывался передать им бразды правления и крайне скептически воспринимал их деятельность, ухудшавшую его и без того непростое положение в столице. Не изменилась

ситуация и тогда, когда за границей оказался средний брат короля, граф Прованский. Королевская чета до последнего отказывалась покинуть страну, а все претензии графа на регентство под тем предлогом, что Людовик XVI лишен свободы действий, отвергались как самим королем, так и европейскими державами. Не доверяя братьям, Людовик XVI не давал им полномочий на силовые варианты борьбы с революцией, а после принятия Конституции 1791 г. и вовсе повелел и им, и другим эмигрантам вернуться на родину.

Когда после казни Людовика XVI граф Прованский вновь заявил свои претензии на регентство, его ждала новая неудача: по французским традициям править при малолетнем короле в равной степени могли и его мать, и старший ближайший родственник мужского пола. Но и после казни Марии Антуанетты иностранные державы не торопились признавать права графа Прованского, лишённого возможности реально влиять на ситуацию. Со временем центром борьбы с революцией с оружием в руках становится город Кобленц, расположенный между Кёльном и Франкфуртом на территории курфюршества Трир, чей государь, архиепископ Клеменс Венцеслав, приходился дядей королю Франции и его братьям. Там Луи Жозеф де Бурбон, принц де Конде, завоевавший славу еще на полях Семилетней войны, объединил вокруг себя войска эмигрантов, однако успехи его армии были весьма скромными.

Обретению признанного всеми лидера мешали и три других фактора. Первый из них – отсутствие более или менее единого видения будущего Франции и путей реставрации монархии. В историографии принято делить сторонников королевской власти на два враждующих лагеря – роялистов и конституционных монархистов, однако такое деление представляется нам слишком большим упрощением. Они действительно нередко конфликтовали на личном уровне, однако это отнюдь не исключало поддержки законного государя многими конституционными монархистами. Если в начале революции либеральные промонархически настроенные депутаты Учредительного собрания постоянно стремились к сотрудничеству с Людовиком XVI, то и позднее видные конституционные монархисты находились в постоянной переписке с Людовиком XVIII, направляли ему свои политические проекты, вставали под его знамена.

Гораздо важнее оказывалось иное. Симпатии к монархии значительных масс населения возрастали по мере разочарования в республиканских ценностях, в способности властей накормить народ и даровать ему мир и стабильность. Отторжение политики группировки Бриссо, монтаньяров, термидорианцев, раскол духовенства и дехристианизация толкали на путь противостояния революции не только крестьянство Бретани и Вандеи, но и многих других людей. Далеко не все они хранили верность трону и мечтали возродить Старый порядок. Однако революционные потрясения, разруха, голод заставляли их идеализировать более спокойное недавнее прошлое, а оно ассоциировалось с королевской властью. Выступая за возвращение монарха, французы не обязательно готовы были целиком отвергнуть те перемены, которые принесла с собой революция, многие выступали за синтез былого и нового.

Вторым фактором, раскалывавшим единство монархистов, стала именно позиция европейских держав. Вскоре после начала революции королевский двор начал просить помощи у других государей, прежде всего у брата Марии

Антуанетты императора Священной Римской империи Иосифа II. После его смерти в феврале 1790 г. королева не раз обращалась к другому брату, унаследовавшему престол, Леопольду II. Однако революция создала беспрецедентную для Европы ситуацию, когда новые политические реалии заставили государей пересмотреть многовековые принципы монархической солидарности: они готовы были сражаться с революционной Францией за свои интересы, но не за династию Бурбонов и не по их указке. Подготовка к войне велась и Австрией, и Пруссией весьма вяло. Не улучшила ситуацию и очередная перемена на австрийском троне: в марте 1792 г. Леопольду II наследовал его сын Франц II, с которым Мария Антуанетта никогда в жизни не виделась. В том же месяце погиб от руки убийцы один из немногих сторонников активной помощи французским Бурбонам – король Швеции Густав III.

Начавшаяся в апреле 1792 г. (по инициативе Франции) война с Австрией, а затем и с Пруссией также не привела к победе контрреволюции. Напротив, составленная в угрожающем тоне декларация командующего объединенной армией герцога Брауншвейгского лишь ожесточила парижан и спровоцировала падение монархии. Формирование в 1793 г. широкой антифранцузской коалиции в составе Австрии, Пруссии, Англии, республики Соединенных провинций, Сардинии и Испании также не принесло успеха: уже к 1794 г. Франция стала уверенно одерживать победы, а в 1795 г. коалиция фактически распалась.

Между тем, несмотря на открытые военные действия, позиция этих стран в отношении судеб Бурбонов оставалась весьма двусмысленной: хотя борьба с революцией и провозглашалась целью войны, это отнюдь не означало бескорыстного восстановления в правах легитимного французского государя. Еще в марте 1791 г. граф Ф. Мерси д'Аржанто, много лет бывший послом Австрии в Париже, намекал Марии Антуанетте, что великие державы «просто так ничего не делают» и напоминал, что у всех есть свои интересы: немецкие государи поглядывают на Эльзас, Испания – на Наварру, Сардиния хотела бы получить поддержку в своих притязаниях на Женеву и т.д.

И Австрия, и тем более Англия рассматривались многими роялистами как давние враги Франции. Ходили слухи об их желании расчленить страну, обеспечить себе территориальные приобретения за ее счет. Помощь иноземным войскам воспринималась как постыдное дело, а восстановление монархии их руками – как национальное унижение. Это отношение усугублялось постоянным стремлением входивших в коалицию стран сопровождать помощь Бурбонам множеством условий, жестко контролировать братьев короля и полки эмигрантов, которые были вынуждены подчиняться то австрийскому, то английскому, то русскому командованию. После провозглашения королем Людовика XVIII его не признала ни одна держава, кроме России. Причины для такого решения были весьма разнообразны – от нежелания закрывать таким признанием дорогу к переговорам с Францией до сомнений в том, что Людовик XVII действительно скончался в тюрьме (уверенности в этом у историков нет до сих пор).

Третьим фактором, не позволившим противникам революции выступить единым фронтом, стали соображения политической целесообразности, пришедшие в противоречие с фундаментальными законами французской монархии: не следует ли в ситуации, когда государь беспомощен и непопулярен,

сделать королем кого-либо другого? По сути французы начали задаваться этим вопросом еще до революции. Принято считать, что и граф Прованский, и герцог Орлеанский (потомок Людовика XIII, до 1785 г. герцог Шартрский), мечтавшие о троне, поддерживали памфлетную кампанию по дискредитации королевской семьи. Одной из ее целей было распространение слухов о том, что король не является отцом детей Марии Антуанетты: таким образом провоцировались сомнения в том, кто именно должен наследовать престол после Людовика XVI. Второй мощный удар традициям нанесла одобренная королем Конституция 1791 г., провозглашавшая, что монарх правит в силу закона, может быть отрешен от власти, должен поклясться в верности нации, обязан возвращаться в страну по первому требованию законодательного корпуса. После этого одобрения далеко не все монархисты готовы были поддерживать старшую ветвь Бурбонов. Хотя герцог Орлеанский, прежде чем погибнуть на эшафоте, голосовал за казнь короля, некоторые считали приемлемым претендентом на престол его сына, унаследовавшего титул: революционное прошлое отца и его самого гарантировало, что он не вернется к Старому порядку, а измена республике и переход к австрийцам вместе с генералом Ш.Ф. Дюмуре делали его своим для либеральных монархистов. Напротив, ультрароялисты считали гораздо более подходящей кандидатурой графа д'Артуа, имевшего репутацию закоренелого консерватора и не запятнанного, в отличие от графа Прованского, заигрыванием с либералами. Часть наиболее воинственных роялистов симпатизировала принцу Конде – единственному из видных принцев крови, постоянно сражавшемуся с революцией с оружием в руках. Всерьез рассматривались в качестве претендентов и два иностранных принца, особенно близких тем, кто скомпрометировал себя сотрудничеством с революционерами. Один, Фредерик Август, герцог Йоркский, второй сын английского короля Георга III, командовал в 1793–1795 гг. во Фландрии английскими войсками, сражавшимися против республиканских армий. Другой, принц Генрих Прусский, младший брат Фридриха II, имел славу одного из лучших полководцев Семилетней войны.

Ситуация в значительной степени изменилась лишь после 1795 г. Провозгласив себя королем, Людовик XVIII сделал все, чтобы выказать себя монархом, способным возглавить борьбу с революцией. Постаравшись примирить между собой конституционных монархистов и роялистов, Людовик XVIII постепенно стал той компромиссной фигурой, которая устраивала большинство противников Республики, хотя в либеральных монархических кругах по-прежнему обсуждались и другие кандидаты.

Отсутствие единого лидера делало невозможным и выработку единой тактики противников революции. В 1790–1795 гг. многие из них возлагали надежды на помощь европейских государей, однако на деле борьба с революцией распадалась на множество разрозненных действий: многочисленные заговоры в целях спасения оставшихся во Франции членов королевской семьи; отчаянное стремление добыть средства на содержание войск и подрывную деятельность; более или менее успешную разведывательную активность; неоднократные попытки использовать недовольство французов сменявшимися друг друга политическими режимами. После 1795 г. роялисты по-прежнему внимательно наблюдали за ситуацией на фронтах, однако постоянные поражения держав коалиции заставляли сосредоточить основ-

ные усилия на реставрации монархии с опорой на самих французов: либо мирным путем через выборы в законодательный корпус (что в 1795–1797 гг. было абсолютно реально), либо путем государственного переворота с участием одного из популярных генералов.

Формирование идейного и программного багажа у сторонников и противников революции шло совершенно различными путями, хотя и имело некоторые общие черты.

Всего через несколько лет после начала революции задним числом происходит стремительная консолидация ее идейного фундамента: общепринятым становится мнение, что она подготовлена просветителями (несмотря на все различие в их концепциях и на то, что практически никто из них не призывал к свержению существовавшего во Франции политического строя). Монтескье, Вольтер, Руссо и другие просветители начинают восприниматься как люди, объединенные в своеобразный пантеон философов. Их труды и мысли постепенно канонизируются, служат бесконечным источником цитат, опорой для законодателей. Как англичане в годы революции искали подтверждения своей правоты в Библии, так теперь французы ищут его в трудах просветителей. При этом моральный авторитет философов оказывается значительно более важным, чем их концепции, которые мало кто действительно пытался применить к стремительно разворачивавшимся во Франции событиям.

Исторический опыт предшествовавших эпох использовался революционерами весьма избирательно. Как ни парадоксально, параллели и с английской, и с американской революциями постоянно возникали в речах и памфлетах французских революционеров, однако по большей части этот опыт виделся неприменимым. Хотя французские законодатели называли американский народ «нашим старшим братом на поприще свободы» и внимательно анализировали заморские конституции, они считали условия, в которых жили и творили английские колонисты в Новом Свете (отсутствие наследственной знати, малая плотность населения, сельская простота нравов), слишком отличающимися от Франции, чтобы заимствования оказались благотворными. Что же касается Англии, то, несмотря на англофилию части либерального дворянства в 1789 г., традиционное соперничество с Британией заставляло усматривать в апелляциях к ее конституционной модели отсутствие патриотизма, а республиканцы не уставали напоминать, что революция в Англии закончилась реставрацией монархии, сохранила короля и знать, вылилась лишь в иллюзию демократии.

Вместо этого по мере развития революции во Франции все больше поднималась на щит просветительская идея республиканских добродетелей, процветавших в эпоху Античности, когда в обществе якобы царили героизм, патриотизм, почетная бедность, уважение к заслугам. Времена Древней Греции и Древнего Рима рассматривались при этом как идеальные; в них не столько искали аналогии, сколько черпали вдохновение. Хрестоматийными стали слова из одного доклада Л.А. Сен-Жюста: «Мы предлагаем вам счастье Спарты и Афин в их лучшие времена; мы предлагаем вам счастье добродетели и скромного достатка; мы предлагаем вам счастье наслаждаться необходимым и отказываться от излишеств».

Сотни и тысячи французов в эти годы становились авторами газетных статей и политических памфлетов, выдвигали проекты политических, эко-

номических и социальных реформ. Теоретических штудий были не чужды и сами лидеры революции. Близкий к жирондистам Кондорсе, которого нередко называют «последним просветителем», после свержения монархии разработал республиканский конституционный проект, а затем, скрываясь от преследований при диктатуре монтаньяров, создал уже упоминавшийся «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума». Сийес пытался сформировать основы новой политической науки, приложил руку к нескольким конституциям Франции. Сен-Жюст, как уже говорилось, составил план совершенного устройства общества; немалое внимание проблемам реформирования морали и сотворения «нового человека» уделял и Робеспьер.

Противники Республики также порой увлекались трудами просветителей; газеты, памфлеты, аналитические записки и проекты и здесь стали массовым явлением; теоретики также далеки были от единства; популярные слова «нация» и «общественный договор» не раз слетали с уст Людовика XVI и Людовика XVIII. Однако существовало и несколько кардинальных отличий. Одним из них стал совершенно иной символический ряд исторических прецедентов и героев прошлого, среди которых по большей части фигурировали монархи и великие военачальники. Это Людовик XII, вошедший в историю как «добрый король», «отец народа»; Луи II Бурбон, четвертый принц Конде, заслуживший прозвище Великого – полководец Людовика XIV и предок командовавшего эмигрантами принца Конде; Генрих IV, которому пришлось одержать над противниками ряд побед на поле боя, чтобы прекратить гражданскую войну и стать монархом не только по закону, но и де-факто. Вообще со временами Генриха IV проводилось максимальное количество параллелей, в его фигуре видели пример не только воинской доблести, но и немалой политической гибкости, а победа этого короля над противниками при, казалось бы, безнадежных стартовых условиях вселяла надежды.

Значительно более существенным отличием «контрреволюционеров» от «революционеров» стал величайший разрыв между теорией и практикой. Авторы теоретических трудов этого времени ставили перед собой две основные задачи: понять истоки революции и дать рекомендации на будущее. Огромный резонанс в Европе получила уже упоминавшаяся работа Э. Бёрка «Размышления о революции во Франции», в которой революция трактовалась как попытка воплощения в жизнь абстрактной, утопической схемы, созревшей в умах «литературных политиков» и использованной «обладателями капитала». С интересом читали «Размышления о Франции» (1797) Ж. де Местра, называвшего главной причиной революции тот моральный и религиозный упадок, в котором находилась Европа, и видевшего в революции удар, нанесенный рукой провидения, за которым должно последовать моральное возрождение и усиление религиозности. В том же ключе была написана и «Теория политической и религиозной власти в гражданском обществе» (1796) Л. де Бональда. Ее автор прослеживал истоки революции в распространении идей Реформации, осуждал философский индивидуализм и полагал, что в финале революции на место «Декларации прав человека» должна прийти «Декларация прав бога».

Однако политическое прогнозирование в условиях быстро меняющихся и часто непредсказуемых событий оказалось делом неблагодарным, а попытки вскрыть «истинные» причины революции мало помогали при составлении планов борьбы с ней. Люди, направлявшие практическую деятельность «контрреволюционеров», несомненно, читали и Бёрка, и де Местра, но руководствовались все же не их творениями. В этой ситуации наибольшее влияние приобретали не чистые теоретики, а аналитики, такие, скажем, как конституционный монархист Ж. Малле дю Пан, выпустивший в 1793 г. знаменитый памфлет «Размышления о французской революции», а впоследствии, параллельно с журналистской работой, консультировавший французский, венский, прусский и португальский королевские дворы. Показательно, что в своем журнале «*Mercurie britannique*» Малле отказывался печатать даже проблемные статьи своих друзей, поясняя, что рассуждения о той форме правления, которая установится во Франции, «не интересуют более иностранцев, совершенно не попадают на территорию Франции» и «служат лишь для поощрения праздности и страстей человеческих». Другой влиятельной фигурой постепенно становится Ж.Ж.А. де Курвуазье, бессменный юрисконсульт Людовика XVIII, секретарь его Совета, автор многочисленных докладных записок и проектов документов, которые должны были лечь в основу реставрированной монархии. Его тексты полны теоретических изысканий, но в то же время имеют и сугубо практическую направленность.

На основе работ аналитиков, донесений многочисленных агентов и дипломатов создавались документы, имевшие теоретический и программный характер и в то же время направленные на реализацию конкретных тактических целей. Наследие Людовика XVI и Марии Антуанетты в этом плане весьма скромно. С одной стороны, в отличие от многих других государей эпохи Просвещения писали они довольно мало, с другой – вскоре после начала революции король начинает стремиться не провоцировать своими действиями мятежных подданных. Напротив, эмигрировавшие принцы и в частности граф Прованский не раз высказывали свои взгляды как публично, так и в частной переписке, но прежде всего призывали к восстановлению монархии в том виде, в котором она существовала до 1789 г., в соответствии с разработанной ими формулой «Старый порядок без злоупотреблений».

1795 год во многом стал переломным моментом с точки зрения не только тактики, но и программных документов роялистов. Королевский титул заставил графа Прованского осознать, что отныне задача координации действий сторонников монархии лежит исключительно на его плечах, а это неминуемо означало поиски консенсуса с конституционными монархистами. Поражения войск коалиции и ставка на реставрацию изнутри создавали необходимость в такой программе действий, которая устроила бы и эмигрантов, и французов, оставшихся внутри страны и не веривших в возможность возвращения Старого порядка (да зачастую и не желавших его). В качестве важного фактора для такой модели реставрации начинает рассматриваться помощь активно действующих политиков, возможно, даже «цареубийц».

Для Людовика XVIII стало очевидно, что трон придется не только завоевывать, но и покупать, а шансы на победу во многом зависят от того,



насколько привлекательным окажется образ короля и обещанного им будущего на страницах его программных документов. Новая политическая линия вырабатывалась в 1795–1799 гг. методом проб и ошибок. Изданный им при вступлении на престол манифест (так называемая Веронская декларация) вызвал отторжение и во Франции, и у европейских держав, и у части роялистов: в нем не совсем справедливо увидели лишь непримиримое отношение к «цареубийцам» и призывы к возвращению Старого порядка. Однако Людовик XVIII сумел извлечь урок из этой ситуации. Уже в 1796 г. он постарался объяснить французам, что не является сторонником реставрации Старого порядка, а стремится лишь основываться на фундаментальных законах монархии; примерно в то же время король выразил готовность даровать конституционную хартию.

Итогом этой новой политической линии стал корпус документов, созданный в окружении Людовика XVIII к 1799 г. и наглядно опровергавший расхожую фразу о том, что «Бурбоны ничего не забыли и ничему не научились». Основные цели королевской власти были обозначены в одном из проектов обращения к народу весьма лаконично: «Простить, восстановить умеренную мудростью монархию, исправить злоупотребления и предотвратить их повторение». Первым королевским актом должен был стать закон об амнистии. В случае реставрации монархии во Франции король готов был привлечь нацию к обсуждению новой конституции, давал согласие на созыв Генеральных штатов, выступал за отмену сеньориальных прав. Он намеревался искать общий язык с новыми владельцами конфискованной в годы революции собственности, обещал сохранить по крайней мере на время всю систему налогообложения, а также структуру государственного управления и офицерский состав в армии (при условии, что чиновники и военные ему присягнут).

Тем не менее все эти усилия не привели к ожидавшимся результатам. После перелома в ходе войны зимой 1793–1794 гг. антифранцузская коалиция так и не приблизилась к победе. Заплатив за это существенными потерями для экономики страны, революционеры смогли поставить под ружье более миллиона человек – сопоставимой армии не было ни у одного государства Европы. К тому же, начиная со второй половины 90-х годов, республиканская армия стала способствовать перекачиванию ресурсов уже в саму Францию, что и позволило впоследствии, уже при Наполеоне, добиться повсеместной поддержки режима.

Не сбылись надежды и на победу роялистов парламентским путем. В 1795–1797 гг. революционеры и «контрреволюционеры» словно поменялись местами: сторонники монархии отказались от силовых методов и попытались сыграть с республиканцами на их поле, а те, напротив, пошли на неоднократное нарушение ими же созданной Конституции III года, чтобы при помощи армии не допустить реставрации. Государственный переворот 18 фрюктидора V года (4 сентября 1797 г.) и последовавшая за ним чистка законодательного корпуса поставили окончательный крест на планах роялистов добиться плавной смены формы правления, опираясь на волеизъявление народа.

Оказалась бита и третья козырная карта монархистов: найти, как некогда в Англии, своего Монка, который при помощи верных ему войск покончил бы

с Директорией и предложил трон Людовику XVIII. Генерал Л. Гош доложил правительству о попытках его перевербовать и всецело встал на сторону властей; генерал Ш. Пишегрю, предавший республику в обмен на маршальский жезл, сошел с политической арены после 18 фрюктидора; генерал Ж.В. Моро, вопреки ожиданиям роялистов, так и не перешел на их сторону, и в итоге генерал Бонапарт сверг Директорию ради себя самого.

Одни историки до сих пор считают его переворот 18 брюмера VIII года Республики (9 ноября 1799 г.) самой настоящей контрреволюцией: он фактически положил конец представительному правлению и открыл дорогу к тому, что стали называть «режимом личной власти» Бонапарта. Другие, напротив, уверены, что Наполеон лишь перевел революцию в новую фазу: сохранил произведенный ею передел собственности и подчинение церкви государству, не допустил репрессий и реставрации Бурбонов. Третьи же и вовсе убеждены, что Наполеону удалось то, что долгие годы казалось невыполнимым: добиться консенсуса в расколотом преобразованиями обществе путем создания прочного сплава революции и контрреволюции.

## ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И МИР

Мысль о том, что Французская революция имеет огромное историческое значение не только для самой Франции, но и для всего мира, высказывали еще современники революционных событий. Эдмунд Бёрк уже в 1790 г. отмечал: «Мне кажется, что я присутствую при великом кризисе в делах не только Франции, но и всей Европы, а, возможно, и не одной лишь Европы. Если учесть все обстоятельства, то окажется, что Французская революция – это самое удивительное из происходившего до сих пор в мире». В революции видели и урок Божественного Провидения (Ж. де Местр), и важный рубеж в самопознании абсолютного духа (Г.В.Ф. Гегель), и завершающий аккорд определенной стадии развития Западного мира (стадии «культуры»), после чего тот перешел в консервативную стадию «цивилизации» (О. Шпенглер), и пр. Однако рассмотрение всех когда-либо предлагавшихся трактовок всемирно-исторического значения Французской революции в нашу задачу не входит, а потому мы ограничимся здесь анализом только тех из них, что имели широкое распространение в историографии последних десятилетий.

На протяжении всего XX в. над изучением Французской революции весьма активно работали историки-марксисты, считавшие ее классическим образцом революции «буржуазной», т.е. обеспечившей переход от «феодального» способа производства к капиталистическому. А.З. Манфред так, например, оценивал значение этого события: «Французская революция сокрушила феодально-абсолютистский строй, до конца добила феодализм, “исполинской метлой” вымела из Франции хлам средневековья и расчистила почву для капиталистического развития. Французская революция разрушила феодальные производственные отношения и установила – на определенное время – соответствие между производственными отношениями и характером производительных сил. Эта огромная разрушительная работа имела крупнейшее прогрессивное значение не только для Франции, но и для судеб всей Европы. Французская буржуазная революция открыла новый исторический период – период победы и утверждения капитализма в передовых странах».

Однако проводившиеся во второй половине XX в. исследования по истории Старого порядка (в частности экономической) позволили существенно уточнить и во многом пересмотреть представления «классической» историографии о значении Французской революции для капиталистического развития как собственно Франции, так и Европы в целом.

Некогда хрестоматийное утверждение о том, что эта революция разрушила «феодальный строй», теперь выглядит анахронизмом. И дело не только в том, что само по себе существование «феодализма» как всеобъемлющей социально-экономической системы сегодня оспаривается даже для периода Средних веков многими медиевистами, которые считают это понятие абстрактной теоретической конструкцией, созданной юристами раннего Нового времени и весьма далекой от средневековых реалий. Если даже не вдаваться в детали этой еще продолжающейся дискуссии и ограничиться рассмотрением только лишь отношений в аграрной сфере предреволюционной Франции, то

и в таком случае приходится констатировать, что сеньориальный комплекс в целом по стране находился к концу XVIII в. в стадии глубокого разложения. Сеньориальные платежи, составлявшие в среднем от 10% до 20% чистого (за вычетом производственных издержек) дохода земледельца, являлись своего рода рыночным товаром: очень часто владельцы сеньорий продавали право на их взимание каким-либо третьим лицам, например предприимчивым горожанам или даже преуспевающим крестьянам, оставляя за собой саму сеньорию. Стремясь повысить прибыли, новые хозяева добивались, чтобы размеры платежей по сеньориальному комплексу время от времени пересматривались в соответствии с рыночной конъюнктурой. Иными словами, внешне сохраняя прежнюю форму, сеньориальный комплекс приобретал новую сущность – превращался из средневекового держания на постоянных, веками не менявшихся условиях в капиталистическую аренду, условия которой напрямую диктовались рынком. Своеобразными «матрицами капитализма» являлись также крупные сеньориальные поместья и появившиеся тогда же во Франции отдельные большие фермы, собственники которых стремились организовать производство по английским образцам. Таким образом, даже в аграрной сфере, традиционно наиболее консервативной, развитие капиталистических отношений активно шло и до революции.

Вместе с тем нередко сохранялись и различного рода реликтовые формы сеньориальных отношений, унаследованные еще от Средневековья: исключительное право сеньоров охотиться в лесах и держать голубятни, их монопольные права (баналитеты) на владение мельницами, виноградным или масличным прессом и даже отдельные нормы обычного права, напоминавшие о былой личной зависимости земледельцев от сеньора, например право «мертвой руки» – обязанность крестьянина при вступлении в наследство наделом заплатить сеньору фиксированный взнос. И если экономическое значение подобных «осколков» сеньориального строя зачастую было не слишком велико, то в психологическом плане они обычно вызывали у крестьян ничуть не меньшее, а нередко даже большее раздражение, чем собственно сеньориальные платежи, ибо подчеркивали приниженное положение земледельцев.

Конечно, решительные действия революционных властей в аграрной сфере, начиная с декретов Учредительного собрания от 5–11 августа 1789 г. об отмене (частично за выкуп) еще сохранявшихся сеньориальных повинностей и заканчивая декретом Конвента от 17 июня 1793 г. о полной и безвозмездной ликвидации таковых, радикально ускорили тянувшийся уже не одно десятилетие процесс постепенного демонтажа сеньориального комплекса, который в ходе революции был в целом ликвидирован (хотя местами отдельные его элементы сохранялись еще и в XIX в.). Аналогичные меры, проводившиеся на территории оккупированных французами стран в период революционных и Наполеоновских войн, также многократно ускорили и радикализировали процессы постепенной ликвидации сеньориального режима, которые, однако, начались в Европе еще до Французской революции. Так, в Савойе личная зависимость крестьян от сеньора была отменена еще в 1771 г., в Бадене – в 1783-м, в Дании – в 1788 г.; активные меры по эмансипации крестьян предпринимались в 80-е годы XVIII в. эрцгерцогом Леопольдом в Тоскане и его братом императором Иосифом II в монархии Габсбургов.

Ликвидируя во Франции ремесленные цехи, внутренние таможи и пошлины, налоговый иммунитет привилегированных сословий, революционные власти также лишь продолжали политику, ранее начатую королевскими министрами-реформаторами. Правда, обладая гораздо большей поддержкой в обществе, нежели правительства Старого порядка, революционеры могли осуществить подобные преобразования намного более решительным образом. То же самое относится и к соответствующему воздействию Французской революции на Европу. Разрушая на занятых французскими войсками территориях аналогичные препоны развитию свободного рынка, республиканская, а затем и наполеоновская оккупационные администрации осуществляли лишь более радикальными методами и более ускоренно, но в принципе ту же самую линию, которую проводил во второй половине XVIII в. просвещенный абсолютизм в разных странах континента.

Если абстрактно рассматривать осуществленные в ходе Французской революции меры по освобождению экономики от «реликтов» Средневековья, отвлекаясь от сопутствовавших этому обстоятельств, то вывод о том, что по своему содержанию такие действия *должны были* способствовать ускорению капиталистического развития Франции, едва ли вызовет возражения. Однако, осмысливая значение произошедшего, историк не может позволить себе абстрагироваться от подобных обстоятельств, во многом определивших реальную «цену» Революции. А эта «цена», как показали в конце XX в. французские исследователи экономической истории Ф. Карон, Ф. Крузе, М. Леви-Лебуайе и другие, оказалась чрезвычайно высока для экономики страны, особенно для тех секторов, где капиталистические отношения достигли наибольшего развития. Настолько высока, что Леви-Лебуайе даже назвал экономические последствия Революции «национальной катастрофой». И основания для такого вывода он и его коллеги привели достаточно убедительные.

Торгово-промышленные круги французского общества тяжело пострадали от революции. Посягательства на крупную собственность были неотъемлемым атрибутом массовых волнений революционной эпохи, начиная с печально известного «дела Ревельона», когда в апреле 1789 г., еще до начала работы Генеральных штатов, люмпены разгромили в Париже большую и процветающую обойную мануфактуру в Сент-Антуанском предместье. А в эпоху Террора уже и сам по себе «негоциантизм» рассматривался как вполне достаточный повод для преследований, которым в качестве «спекулянтов» подверглись многие предприниматели. Характерен в данном отношении пример уже упоминавшейся выше семьи Вандель, создавшей металлургический завод Крезо. Большинство ее членов подверглось в период революции преследованиям, а само предприятие, славившееся в 80-е годы XVIII в. наиболее передовыми во Франции технологиями, к 1795 г. пришло в полный упадок и было восстановлено уже только при империи. И данный случай отнюдь не единичен. К примеру, из 88 предпринимателей, являвшихся депутатами Генеральных штатов от третьего сословия, в период Террора так или иначе пострадало 28, т.е. почти треть: из них 22 были репрессированы, трое обанкротились, трое были вынуждены эмигрировать. Ну а поскольку в Генеральных штатах, а затем в Национальном собрании эта категория депутатов

в большинстве своем проявляла довольно слабую политическую активность, то главной причиной обрушившихся на них гонений очевидно были отнюдь не политические мотивы, а социальные.

В целом революция привела к глубочайшему упадку экономики Франции. По подсчетам Ф. Крузе, к 1800 г. промышленное производство в стране составляло только 60% от предреволюционного. Вновь на уровень 1789 г. оно вернулось лишь к 1810 г. И это несмотря на существовавший с 1792 г. высокий спрос на военную продукцию.

Если война по крайней мере стимулировала активность тех отраслей промышленности, что были связаны с производством вооружений, боеприпасов и амуниции, то на внешнюю торговлю она повлияла исключительно негативным образом. Морская блокада и утрата Францией вест-индских колоний привели к практически полному краху атлантической торговли, в которой капиталистические формы предпринимательства достигли в предреволюционный период особенно высокого уровня развития. Обслуживавшие ее французские порты, являвшиеся ранее ведущими центрами национальной торговли и промышленности, пришли за время революции и империи в полное запустение. К тому же, наиболее крупные из них – Нант, Бордо, Марсель – особенно сильно пострадали от репрессий в период Террора. Так, население Бордо в результате общего воздействия всех этих неблагоприятных факторов с 1789 г. по 1810 г. сократилось со 110 тыс. до 60 тыс. И если в 1789 г. Франция имела 2 тыс. торговых судов дальнего плавания, то к 1812 г. таковых насчитывалось лишь 179. В целом же, упадок во внешней торговле оказался столь глубок, что по ее абсолютным показателям страна вернулась на уровень 1789 г. только в 1825 г. В процентном же отношении ту долю в мировой торговле, которую Франция имела до революционных потрясений, она не восстановила уже никогда.

Еще более долгосрочные негативные последствия для развития капитализма во Франции имело происшедшее в результате революции перераспределение земельной собственности, самое большое в истории страны. Продажа национальных имуществ – бывших владений церкви и короны, конфискованной собственности эмигрантов и лиц, осужденных революционными судами, – затронула до 10% всего земельного фонда. Значительная часть этих земель (до 40% по новейшим подсчетам французских историков Б. Бодинье и Э. Тейссье) перешла в собственность крестьян. Подобный передел земли в пользу мелких собственников и связанное с ним упрочение традиционных форм крестьянского хозяйства оказали во многом решающее влияние на темпы и специфику промышленного переворота во Франции XIX в.

Это влияние известный российский специалист по аграрной истории А.В. Адо определял следующим образом: «Шедшая в этот период парцелляция земельной собственности в сочетании с сохранением традиционных общинных институтов вела к тому, что даже обнищавший крестьянин имел возможность не покидать деревню, обладая клочком земли и обращаясь к общинным угодьям и правам пользования. Это усиливало аграрное перенаселение, задерживало отлив бедноты в города и создавало в деревнях громадный резерв рабочей силы, остро нуждавшейся в дополнительном заработке. Тем самым продлевалась во времени относительная стойкость “доиндустриальных” (ремесленных и мануфактурных) форм промышлен-

ного производства, прибыльность которых обеспечивалась использованием дешевого труда деревенской бедноты, а не модернизацией с применением машин и новой технологии. Агротехническая перестройка также шла замедленно, черты традиционной системы ведения хозяйства обнаруживали большую живучесть».

Вывод о не слишком высоком уровне агрикультуры в хозяйствах новых владельцев земли подтверждается и статистическими данными, собранными французским историком Ж.К. Тутэном и свидетельствующими о резком падении урожайности большинства зерновых в послереволюционный период. Так, по сравнению с 1781–1790 гг. среднестатистическая урожайность зерновых в 1815–1824 гг. снизилась с 8 до 7,5, пшеницы – с 11,5 до 8,24, ржи – с 8 до 6,5, ячменя – с 11 до 8,4 центнера с гектара.

Кроме того, массовая распродажа национальных имуществ вызвала переориентацию владельцев капиталов на спекулятивные операции с недвижимостью, получившие широкий размах. Свободные средства теперь гораздо более охотно вкладывались в недвижимую собственность, чем в развитие. Возникший в результате этого «инвестиционный голод» стал одним из важнейших факторов, затормозивших проведение во Франции промышленной революции и аграрного переворота.

Рассмотрев разные оценки итогов перераспределения в ходе Революции земельной собственности, которые высказывались на протяжении последних ста лет специалистами по аграрной истории, Бодинье и Тейссье пишут: «Итак, была ли продажа национальных имуществ “наиболее важным событием Революции”? Без сомнения, и да, и нет. Да – для тех, кто считает, что реализация на рынке одной десятой части земельного фонда страны радикально изменила в течение нескольких лет социально-профессиональный состав собственников, привязала к земле множество мелких приобретателей и способствовала тем самым сохранению значительной доли населения в сельской местности, что могло стать причиной экономической отсталости сельского хозяйства Франции. (...) Бесспорное нет – для тех, кто придает наибольшее значение Декларации прав человека и гражданина, свободе, равенству, рождению Республики и демократии, гражданскому кодексу или метрической системе... Но все эти элементы составляют абстрактные принципы Революции, для воплощения которых в жизнь потребовались десятилетия и даже больше того. При том, что конкретные и немедленные приобретения (а что может быть конкретнее земли?) сказались на жизни гораздо раньше, особенно для массы сельских жителей. В этом отношении продажа национальных имуществ, действительно является “наиболее важным событием Революции”».

Несмотря на все сложности и задержки, капитализм во Франции продолжал развиваться. Однако причинно-следственная связь этого процесса с революционными событиями конца XVIII в. выглядит в свете новых исследований по экономической истории уже далеко не столь однозначной, как ее изображали сравнительно недавно. Значительное и все более усугублявшееся на протяжении первой половины XIX в. экономическое отставание Франции от Англии, а во второй половине столетия – и от Германии, побуждает историков задаваться вопросом о том, происходило ли развитие французского капитализма «благодаря революции» или же «несмотря на нее».

Столь же неоднозначным выглядит в свете современных исследований и вопрос о «цене» ускоренной ликвидации французами Старого порядка в соседних европейских странах.

На оккупированных французскими войсками территориях Бельгии, Прирейнской Германии, Швейцарии, Италии и Испании действительно проводились решительные социально-экономические преобразования по образцу тех, что уже имели к тому времени место во Франции: демонтаж сеньориального комплекса, отмена сословных привилегий и корпораций, унификация права и административных органов, и т.д. Однако социальная база подобных реформ в самих этих странах была крайне слабой – их поддерживал лишь узкий слой образованных людей, воспитанных на идеях Просвещения. Главной же движущей силой перемен выступала французская администрация, опиравшаяся на оккупационную армию. Иными словами, французская свобода была принесена в завоеванные страны на штыках солдат. Платой же за нее стало тяжкое бремя военной оккупации.

Начиная военный конфликт с европейскими державами под лозунгом освобождения соседних народов от «деспотизма» их правителей, французские революционеры провозглашали «мир хижинам, войну дворцам». Однако уже в 1793 г., как только войска Республики изгнали неприятеля со своей территории и пересекли границу, в основу французской политики на оккупированных землях был фактически положен старинный принцип кондотьеров «война кормит войну». 18 сентября 1793 г. Комитет общественного спасения приказал командующим армий самим изыскивать на занятых территориях все необходимые средства для содержания войск. По мере продвижения республиканских армий в глубь соседних стран политика выкачивания ресурсов с оккупированных земель приобретала все более систематизированный характер. В мае 1794 г. для этой цели были учреждены особые агентства, имевшие своей задачей «вывозить во Францию предметы потребления, торговли, науки и искусства, которые можно использовать на благо Республики».

Как отмечает современный английский историк А. Форрест, «цена вторжения и завоевания часто оказывалась непосильной для экономики соседей Франции. Во внимание не принимались ни чувства местного населения, ни его реальные возможности нести это бремя». Так, в 1795 г. С. Бурсье, уполномоченный французского правительства в Бельгии, приказал изъять для нужд Республики половину (!) всего зерна, сена и соломы, имевшихся в этой стране и соседних областях.

Да собственно и многие преобразования, осуществлявшиеся французской администрацией на оккупированных территориях, в значительной степени были направлены именно на то, чтобы повысить эффективность эксплуатации их ресурсов. В Италии, например, проводилась такая же продажа национальных имуществ, какая ранее имела место во Франции. Однако выручка от этой операции пошла в доход не местных, пусть даже профранцузски настроенных властей, а напрямую в бюджет Французской республики.

Ужесточению фискального пресса служила и унификация в этих странах системы управления. Власти созданных здесь так называемых «дочерних республик» являлись снизу доверху – от органов управления дистриктами до собственно правительств – своего рода филиалами французской оккупационной администрации. Вопреки провозглашенному революцией праву



народов на самоопределение, Париж и не думал считаться с суверенитетом «братских» государств и откровенно эксплуатировал их в своих интересах. В 1798 г. несколько кантонов Гельветической республики, формально являвшейся союзником Франции, были обложены огромной контрибуцией в 16 млн ливров, для скорейшего выколачивания которой из местных жителей французы брали тех в заложники и принудительно размещали в их домах солдат на постой.

Помимо такого, проводившегося в государственном масштабе, «узаконенного» выкачивания ресурсов, население «освобожденных от деспотов» стран подвергалось жестокому мародерству со стороны французских солдат. В большей или меньшей степени грабить позволяли себе солдаты всех армий, однако, как показывают относительно недавние исследования Т. Блэннинга и А. Форреста, именно во французских войсках мародерство приобрело беспрецедентный размах. Во многом это было связано со спецификой комплектования армий Республики. Если войска других государств состояли преимущественно из профессиональных солдат, муштровавшихся годами, то массовые призывы новобранцев, которые практиковались во Франции с 1793 г., наполнили воинские части людьми, просто не имевшими времени научиться «жить по уставу».

Не удивительно, что значительная часть населения стран, оккупированных французами, с неприязнью относилась к новому порядку, принесенному на штыках иностранных солдат. Гарантией его стабильности была лишь мощь французской армии. Если же военная удача отворачивалась от французов, то всем осуществленным ими реформам грозил полный крах. Именно так случилось в 1799 г. на Юге Италии, когда Парthenопейская республика пала под натиском войск Второй антифранцузской коалиции и массового контрреволюционного движения крестьян Калабрии и плебса Неаполя.

Потребовалось время, чтобы преимущества тех нововведений, которыми страны Старого Света были обязаны Французской революции, стали для европейцев более значимы, чем сопряженные с появлением этих новшеств издержки.

Если социальные последствия Революции XVIII в. для Франции и окружающих ее стран выглядят в свете новейших исследований далеко не столь однозначными, как их долгое время изображала «классическая» историография, и являются сегодня предметом острой дискуссии в научной литературе, то относительно влияния Французской революции на политическую культуру взгляды историков разных направлений достаточно близки. Согласно преобладающей в историографии точке зрения, большинством ключевых понятий политического дискурса наших дней мы обязаны именно Французской революции. Какие-то из них были порождены непосредственно ею, другим, появившимся в предыдущие эпохи, она придала тот смысл, в котором мы их используем и поныне. Для примера рассмотрим, как происходило в ходе Французской революции оформление некоторых из них.

Хотя такое основополагающее понятие современной политической культуры, как *демократия*, возникло еще в Древней Греции, тем не менее до конца XVIII в. оно использовалось в крайне узком смысле – для обозначения формы власти некогда существовавшей в тех античных городах-государ-

ствах, где все граждане напрямую участвовали в принятии политических решений. Л. де Жокур, автор статьи «Демократия» в «Энциклопедии», так определял это государственное устройство: «одна из простых форм правления, при которой народ во всей его совокупности обладает верховной властью». По-разному относясь к подобному строю, философы Просвещения были единодушны в том, что само понятие имело преимущественно теоретическое значение, ибо в условиях XVIII в. такое государственное устройство не представлялось возможным. Причины тому Руссо объяснял в «Общественном договоре» (1762) следующим образом: «Во-первых, для этого требуется Государство столь малое, чтобы там можно было без труда собирать народ и где каждый гражданин легко мог бы знать всех остальных; во-вторых, — большая простота нравов, что предотвращало бы скопление дел и возникновение трудноразрешимых споров, затем — превеликое равенство в общественном и имущественном положении, без чего не смогло бы надолго сохраниться равенство в правах и в обладании властью; наконец, необходимо, чтобы роскоши было очень мало или чтобы она полностью отсутствовала. (...) Если бы существовал народ, состоящий из богов, то он управлял бы собою демократически. Но Правление столь совершенное не подходит людям».

Заметим, что на первое место среди обстоятельств, препятствующих установлению демократического правления, Руссо вынес все же не моральные факторы (утрата «простоты нравов» и т.д.), а географический аспект — размеры государства, не позволяющие всем гражданам большой страны непосредственно участвовать в управлении. Именно всем, поскольку согласно преобладавшему тогда пониманию демократии, она мыслилась как *прямое* правление народа. Руссо особо подчеркивал невозможность существования *представительной* демократии: «Суверенитет не может быть представляем по той же причине, по которой он не может быть отчуждаем. Он заключается, в сущности, в общей воле, а воля никак не может быть представляема; или это она, или это другая воля, среднего не бывает».

Однако во время Французской революции логика политической борьбы очень быстро заставила сторонников радикальных преобразований, так называемую «патриотическую партию», обратиться к разработке нового, более широкого подхода к проблеме реализации суверенитета нации. Эти поиски развернулись еще во второй половине 1788 г., когда в стране шло активное обсуждение будущего порядка работы Генеральных штатов. Идеологи революции, в частности аббат Сийес, автор знаменитого памфлета «Что такое Третье сословие?», доказывали, что само по себе создание представительного органа отнюдь не означает отчуждения суверенитета нации. Таковое происходит только если общая воля нации подменяется частной волей деспота или привилегированных сословий, что неминуемо случится, если Штаты будут действовать в соответствии с традиционным порядком. Подобное стремление соединить основополагающий принцип демократии — положение о принадлежности верховной власти народу — с идеей национального представительства (как это имело место в США) получило развитие летом–осенью 1789 г., в период борьбы между монархией и Учредительным собранием за обладание суверенитетом. Левые депутаты и революционные публицисты доказывали, что именно деятельность Собрания, получившего свои полно-

мочия непосредственно от народа, служит превращению множества частных интересов в единую и неделимую волю нации.

Таким образом, идея национального представительства как необходимого инструмента реализации суверенитета народа уже с самого начала революции стала одной из центральных констант революционной общественной мысли. Вместе с тем, на протяжении первой половины революционного десятилетия постоянно предпринимались попытки тем или иным образом совместить представительную демократию с элементами прямой демократии. К последним, в частности, можно отнести право на восстание, включенное в Декларацию прав человека и гражданина как в 1789 г., так и в 1793 г., принцип утверждения законов первичными собраниями избирателей, содержащийся в конституционном проекте Кондорсе, предусмотренное Конституцией 1793 г. право первичных собраний требовать утверждения на референдуме принимаемых законов, и т.д. О праве народа непосредственно осуществлять свой суверенитет часто упоминали и монтаньяры, оправдывая насилие парижской толпы по отношению к Конвенту в ходе восстания 31 мая – 2 июня 1793 г.

Следующий этап активной разработки теории представительной демократии начался после 9 термидора II года Республики и был связан с подготовкой Конституции 1795 г. Многие депутаты Конвента и публицисты, размышляя над трагическим опытом Террора, связывали произошедшее с попыткой осуществления во Франции принципов прямой демократии и критиковали их. Если в начале революции ее идеологам приходилось доказывать совместимость принципа национального представительства с идеей суверенитета народа, то теперь существование представительства было признано необходимым в качестве гарантии от тиранического применения народом своей неограниченной власти по отношению к индивидам. В частности, эту тему подробно развил Сийес в речи от 2 термидора III года Республики (20 июля 1795 г.), заявив, что главной целью свободного государственного устройства должно быть обеспечение прав отдельного человека. По отношению к ним суверенитет народа отнюдь не является абсолютным. Развивая идею о необходимости ограничения сферы применения государственной власти, Б. Констан тогда же писал в своих памфлетах, что античное понимание свободы как коллективного осуществления верховной власти неприемлемо для людей Нового времени, которые связывают свободу прежде всего с обеспечением прав каждого индивида.

Таким образом, в течение всего нескольких лет Революции французская общественная мысль от традиционного, восходящего к Античности представления о демократии фактически пришла к современной формулировке ее основополагающих принципов.

Столь же радикально изменился в годы Французской революции и смысл понятия «республика». Правда, к началу революционных событий оно все же не выглядело столь же древним анахронизмом, как «демократия», поскольку обладало несколько более широким спектром смысловых значений. Политическая мысль XVIII в. относилась к республикам не только демократии, но и аристократии. Монтескье в «Духе законов» предлагал различать их следующим образом: «Если в республике верховная власть принадлежит

всему народу, то это – демократия. Если верховная власть находится в руках части народа, то такое правление называется аристократией». И если для характеристики первых философов и правоведов, действительно, приходилось оперировать лишь примерами из древней истории, то при описании аристократических республик они вполне могли ссылаться на современные им государства с подобным политическим устройством – Венецию, Геную, швейцарские кантоны, Нидерланды. Впрочем, все европейские республики XVIII в. обладали одной немаловажной особенностью: их территория была невелика. Соответственно политическая философия того времени считала аксиомой то, что республиканский строй пригоден только для малых стран. И хотя в Северной Америке с 1776 г. на весьма обширной территории существовала республика Соединенных Штатов, ее воспринимали в Старом Свете как своего рода исключение: это было молодое государство, возникшее на малонаселенных землях, где политические институты имели довольно короткую историю и не слишком сложное устройство. Возможность же установления республиканского строя в большой стране с давними монархическими традициями философы Просвещения в практической плоскости не рассматривали.

Не удивительно, что на начальном этапе Революции большинство ее сторонников довольно скептически относилось к республиканским идеям. К тому же, образ республики был сопряжен в общественном сознании с негативными историческими коннотациями: опыт позднего периода существования античных городов-государств заставлял ассоциировать республиканскую форму правления с господством демагогов и охлократией. Вот почему многие, в том числе наиболее радикальные, деятели Революции считали для себя оскорбительными любые подозрения в республиканских симпатиях. Робеспьер даже во время Вареннского кризиса летом 1791 г. возмущался: «Пусть обвиняют меня, если хотят, в республиканизме: я заявляю, что ненавижу любую форму правления, где господствуют клики».

Вместе с тем, признавая на словах необходимость сохранения во Франции монархии, пусть и в ограниченной форме, депутаты Учредительного собрания в ходе работы над Конституцией фактически трактовали королевскую власть как силу, противостоящую нации и враждебную ей. В течение всего лишь нескольких месяцев монарх, ранее являвшийся воплощением государственного суверенитета, превратился де юре всего лишь в главу исполнительной ветви власти. Но де факто с ним после принудительного перемещения из Версаля в Париж обращались даже не как с таковым, а как с пленником. Революционная пресса и вовсе день за днем писала о «контрреволюционном заговоре», свившем гнездо при королевском дворе. Разумеется, прямым следствием этого было дальнейшее снижение авторитета монархии. Однако наиболее тяжкий ущерб ему нанес сам Людовик XVI, предприняв в июне 1791 г. попытку бегства из страны, лишь по случайности пресеченную революционными активистами в городке Варенн. Именно с этого времени в революционных кругах стала быстро распространяться идея республики.

В Законодательном собрании, пришедшем осенью 1791 г. на смену Учредительному, многие депутаты уже откровенно исповедовали республиканские взгляды. Собрание целенаправленно провоцировало конфликт между ветвями власти и настойчиво пыталось дискредитировать институт монар-

хии в глазах общественного мнения. С началом войны революционная пресса постаралась направить прежде всего против королевского двора то недовольство общества, вызванное чередой неудач на фронте. В ходе беспорядков 20 июня 1792 г. ворвавшаяся в Тюильри парижская толпа подвергла короля, чья особа некогда считалась священной, прямому оскорблению. В конце концов, восстание 10 августа 1792 г. и вовсе лишило Людовика XVI власти.

21 сентября 1792 г. Франция была провозглашена республикой. Эта Первая, как ее сегодня называют, республика формально просуществовала 12 лет, однако фактически за это время французы испытали, по меньшей мере, пять разных республиканских режимов, радикально отличавшихся один от другого: жирондистский, монтаньярский, термидорианский, Директорию и Консулат.

Позднее к этому богатейшему опыту строительства республиканских институтов в большой стране обращались на протяжении всего XIX в. и даже начала XX в. многие политики Франции и других государств, выбирая на свой вкус наиболее подходящие модели политического устройства. И если французские революционеры конца XVIII столетия черпали вдохновение в истории, образах и символике республиканской традиции Античности, то для последующих поколений республиканцев они уже сами стали образцом для подражания.

В отличие от понятий «демократия» и «республика», которые, хотя во многом и обязаны Французской революции своим нынешним содержанием, но появились все же гораздо раньше, деление политических сил на «правые» и «левые», основополагающее для современной политической культуры, возникло именно в период Революции.

С началом работы Генеральных штатов их депутатам пришлось решать множество технических вопросов, связанных с организацией своей деятельности. Поскольку большинство представителей третьего сословия отказывалось следовать тому распорядку, что применялся в предыдущих Генеральных штатах 1614 г., встала задача создать новый регламент с чистого листа, определив правила ведения дискуссии, голосования, организации парламентских комитетов и т.д. Причем все эти процедурные моменты представители третьего сословия вынуждены были согласовывать, находясь одновременно в противостоянии с привилегированными сословиями по вопросу о проверке полномочий депутатов. Не удивительно, что в подобной ситуации полной неопределенности возникали порою и довольно необычные предложения. Так, если верить дневнику депутата П.П. Нерака, уже 8 мая при обсуждении представителями третьего сословия высказанных Малуэ и Мирабо мнений о том, как следует проверять полномочия депутатов – по сословиям или на общем заседании палат, от кого-то из депутатов поступило предложение разделиться на две части, дабы получить четкую картину преобладающих настроений: пусть те, кто согласен с Малуэ, отойдут направо, а те, кто поддерживает Мирабо, – налево. Рекомендация носила чисто технический характер, не содержала политического подтекста и никакого реального продолжения не имела, однако, заметим, уже тогда, возможно в силу случайного совпадения, направо было предложено идти сторонникам более консервативной позиции, налево – более радикальной.

После объединения представителей всех сословий в стенах Национального собрания, вскоре объявившего себя Учредительным, тем водоразделом, по которому происходило дальнейшее политическое размежевание между депутатами, стали положения будущей конституции. В августе 1789 г. острая борьба разгорелась вокруг утверждения Декларации прав человека и гражданина, а также по вопросу о том, какое вето может налагать король на решения Учредительного собрания – абсолютное или отлагательное. В ходе этой дискуссии, о чем свидетельствуют многие источники, и произошло постепенное разделение депутатов по политическим пристрастиям: сторонники Декларации прав и отлагательного вето сели по левую сторону от председателя, их оппоненты и соответственно сторонники абсолютного вето – по правую.

Трудно сказать, почему так произошло. Возможно, потому что правую сторону традиционно занимало духовенство, большая часть которого, включая высших иерархов церкви, входила в «партию» сторонников короля. Как вспоминали позднее некоторые из депутатов, составлявших в Собрании правое меньшинство, они старались держаться как можно сплоченнее, чтобы избежать психологического давления со стороны революционно настроенного большинства. В сентябре деление Собрания на два крыла окончательно оформилось, после чего уже и пресса стала использовать понятия «правая сторона» и «левая сторона» как собирательные названия двух противоборствующих политических «партий». В декабре же эти понятия и вовсе приняли ту обобщающую форму, в которой их до сих пор применяют во Франции и за ее пределами: «правая» (*la droite*) и «левая» (*la gauche*), без связи с местоположением в зале заседаний.

К завершению деятельности Учредительного собрания традиция использования этих понятий уже настолько устоялась, что была сразу же воспроизведена и в Законодательном собрании. Это, по мнению некоторых современников, сыграло злую шутку с приверженцами Конституции 1791 г. – фельянами (фейянами). Как вспоминал М. Дюма, принадлежавший к данной «партии», левую сторону в зале заседаний сразу же заняли сторонники республиканских взглядов и продолжения революции. В центре расселась основная масса провинциальных депутатов, не имевших первое время четких политических пристрастий и придерживавшихся достаточно пассивной позиции. В результате, конституционалистам-фельянам, чтобы держаться вместе, уже не оставалось ничего другого, как занять скамьи в правой части зала. И хотя в этом Собрании уже не было столь же ярко выраженных сторонников сохранения королевских prerogatives, как в Учредительном, их место в общественном мнении заняла новая «правая» – фельяны, на которых только в силу самого этого факта была отчасти перенесена та неприязнь, которой ранее удостаивали роялистов.

В Конвенте опять произошла смена ролей. Жирондисты, составлявшие «левую» в Законодательном собрании, вынуждены были уступить эту сторону своим более радикальным оппонентам – монтаньярам, отдать центр пассивной массе «болота» и занять места справа, приняв на себя все связанные с этим негативные коннотации. Не удивительно, что после изгнания жирондистов из Конвента в результате восстания 31 мая – 2 июня 1793 г. никто из депутатов больше не хотел сидеть справа, и эта сторона зала была отдана

делегациям первичных собраний избирателей, приходившим наблюдать за работой национального представительства.

После «революции 9 термидора» правую сторону занимали сторонники ликвидации режима Террора, в том числе оставшиеся в живых и возвращенные в Конвент жирондисты. Характерно, что в последовавший за переворотом период ожесточенной политической борьбы, когда решалось, будет ли осуществлен полный демонтаж машины Террора или же линия «революционного правления» сохранится и без Робеспьера, на «правую» и «левую» делился не только сам зал заседаний, но и занятые зрителями трибуны.

Члены законодательных органов, избранных в соответствии с Конституцией 1795 г., постарались уйти от прежнего деления депутатского корпуса по политическим пристрастиям и занимали свои места в зале согласно жребию. На некоторое время понятия «правые» и «левые» ушли из парламентской практики, но сама по себе традиция не была забыта и возобновилась в период Реставрации, чтобы уже не прекращаться до наших дней.

Аналогичные экскурсы в историю Революции можно было бы сделать и для других понятий политического лексикона нашего времени, приобретших тогда именно тот смысл, в котором их используют до сих пор: права человека, конституция, свобода, равенство и т.д. Однако и сказанное выше позволяет понять, почему в современной литературе по гуманитарным наукам Французскую революцию принято считать колыбелью нынешней политической культуры. И хотя многие из провозглашенных ею принципов тогда так и не были реализованы, уже сама по себе постановка их в порядок дня определила важнейшее значение данного события в истории мировой цивилизации.